
Ведьма
королевского
круга

Нина Кислицына

Ведьма королевского круга

«Автор»
2026

Кислицына Н.

Ведьма королевского круга / Н. Кислицына — «Автор», 2026

Фина держит границу за рвом: весы, соль и книгу, в которую записывают всякого, кто пришёл и что принёс.Двадцать три года мать запрещала ей петь. Пение открывает дверь, а за дверью стоит то, что осталось на месте, откуда когда-то выгнали человека: оно не злое, оно пустое и умеет только ждать.Когда корона ставит на весы свою печать, торг встаёт, и Фина снимает печать сама. В тот же месяц к югу от границы встаёт деревня: люди живы и тёплы, но их нет. По королевству двадцать лет ходит женщина в сером и поёт. Она не убивает — она держит. И она идёт за Финой, потому что Фина носит её имя.Чтобы вернуть имена чужим матерям, отцам и целым улицам, Фине придётся платить своими: памятью, телом, собственной плотностью. И однажды решить, кем она останется, когда заплатит всё.

© Кислицына Н., 2026
© Автор, 2026

Нина Кислицына
Ведьма королевского круга

Глава 1

В канцелярии пахло клеем, мокрой шерстью и чернилами.

Сукно на скамьях парило: истопник с самого утра заложил в печь сырые дрова, и весь второй этаж над караульней дышал теплом и кислой овчиной. Я села на своё место у окна, разложила листы, обмакнула перо и начала считать.

Один. Два. Три.

Слева, за дощатой перегородкой, у Тибора тянулась привычная строка: соль, опять забыла соль, а я ведь говорил, говорил, и что теперь прикажете, опять хлебать пресное. Я подвинула счёт дальше. Четыре. Пять. Шесть.

Дар не выключался. Он был устроен как ухо: можно отвернуться, можно не слушать, но нельзя перестать слышать. Мать научила меня спасаться счётом, когда мне было семь. Считай, говорила она, считай до большого, потом ещё раз, и держи лицо. К полудню я обычно добиралась до четырёх тысяч и сбивалась, потому что в канцелярии всегда кто-нибудь думал слишком громко.

Сегодня громче всех думал распорядитель. Он вошёл в дверь боком, придерживая под мышкой папку, и я услышала его раньше, чем он успел открыть рот: опоздал, опоздал, а она уже спрашивала, и что я скажу, что я скажу.

— Указ о соляной пошлине, — объявил он вслух. — Тридцать листов, к вечеру. Переписывать всем, кроме Тибора, у Тибора рука.

Тибор за перегородкой подумал с облегчением, и облегчение у него было липкое, с досадой: значит, опять он, значит, опять до полуночи, зато не переписывать. Я взяла верхний лист. Бумага была плотная, дорогая, с водяным знаком в виде короны, и буквы на ней плясали так, будто писали в спешке.

— К вечеру, — повторил распорядитель и посмотрел на нас по очереди, а думал при этом: хоть бы одна крыса донесла, что здесь делается, хоть бы одна, мне за это не заплатят, но мне и за это не платят.

Я опустила глаза и стала писать.

Почерк у меня был хороший. Это единственное, что я умела делать лучше других, и единственное, за что мне платили: три медяка в день и хлеб в обед. Отец когда-то учил меня выводить буквы на обрезках переплётной кожи, и я выводила их до того ровно, что он смеялся и говорил, что из меня выйдет либо писарь, либо святой. Святые в Фанвите перевелись, писцы ещё держались.

К третьему листу я привыкла и перестала замечать перо. Один. Два. Три. За окном по булыжнику цокали копыта, внизу, в караульне, переругивались гвардейцы, и сквозь всё это, как сквозь мокрую ткань, шли чужие мысли: у кого-то болел зуб, кто-то считал деньги, кто-то вспоминал вчерашнюю ссору и придумывал себе оправдание.

В дверях появилась женщина.

Она вошла тихо, но я её услышала: только бы спросили про мужа, только бы не спросили про мужа, а если спросят, так ведь правда же, правда, он не виноват, он просто взял, он хотел как лучше.

Женщина была в тёмном платке и держала перед собой бумагу обеими руками, как держат икону или миску с горячим. Подойдя к столу, она положила её на край и стала ждать, пока распорядитель освободится.

— По какому делу? — спросил он, не поднимая головы.

— По прошению, ваша милость. Мужа моего взяли в долговую, а у нас четверо, и старшему девять.

Прошение я не читала. Мне и не нужно было: за её словами шла другая строка, частая, как шаги: он взял, он правда взял, он взял у соседа двадцать медяков на лекарство для младшей, и сосед ждал, и не дождался, и теперь его держат в яме, и что я скажу детям, что я скажу детям.

Распорядитель взял бумагу, повертел, вздохнул.

— Не по моей части, — сказал он вслух, и это была правда. Он думал при этом: у меня своих долгов на тридцать, и жалованье задерживают третий месяц, и вот ещё одна пришла со своими детьми.

Женщина не заплакала. Она забрала бумагу, сложила её вдвое и пошла к двери, а в голове у неё было пусто и гулко, как в сенях.

Я переписала ещё лист. Потом ещё один. Мне хотелось сказать ей вслух, что сосед ждал и что двадцать медяков — это двадцать медяков, но я не сказала. За такие подсказки в канцелярии не благодарят. Меня бы спросили, откуда я знаю, а потом спросили бы ещё раз, при свидетелях, и я соврала бы, как врала всегда, и после этого мне бы перестали давать работу, а отцу перестали бы давать заказы.

К полудню распорядитель объявил, что после часа канцелярия закрывается.

— По случаю, — сказал он. — Всем быть по домам до вечернего колокола.

Тибор за перегородкой подумал: по случаю, значит, опять что-то во дворце. Опять, значит, приехали. Значит, опять будут шептаться в галерее и опять никому ничего не скажут.

Я сложила листы в папку, вытерла перо и вышла на площадь.

Площадь перед дворцом всегда была полна. Здесь торговали лентами, пирожками и слухами, и последние шли дороже всего: за медяк вам рассказывали, что королева, та, что слегла, не встаёт с постели, за два — что она встаёт, но не с той, с какой надо. Я шла вдоль стены, держа папку у груди, и слушала, потому что ничего не могла с собой сделать.

У фонтана меняла караул гвардия. Строй стоял неровно, кто-то переступал с ноги на ногу, и над строем висело облако мыслей, душное, как запах конюшни: скорее бы, скорее бы, жарко, в сапогах вода, а вечером чтобы пиво и чтобы не послали.

И вдруг стало тихо.

Я даже остановилась. Шум не исчез совсем: пирожник кричал про сдобу, голуби дрались за корку, где-то плакал ребёнок. Но в голове у меня стало чисто, как в комнате, из которой вынесли всё лишнее.

Так бывало, когда рядом никого не было. Так бывало ночью. Днём, на площади, среди сотни людей, такого не бывало.

Я подняла глаза.

Он стоял у края строя, чуть в стороне, в тёмно-синем гвардейском кафтане с чужого плеча: рукава были длинноваты, и он подворачивал манжеты, пока ждал. Тёмные волосы, светлые глаза, узкий шрам на брови, будто там когда-то прошлись ногтем. Он смотрел на меня в упор, без всякого смущения, и я поняла, что стою и таращусь на него уже, наверное, целую вечность.

Я шагнула ближе. Просто проверить.

Тишина. Ровная, полная, без единого шёпота. Я слышала, как у него скрипнул ремень, слышала, как он дышит, как перекатывается с пятки на носок, но мыслей не было. Ни слова, ни обрывка, ни липкой чужой строки про соль, зарплату, пиво и долги.

— Всё в порядке? — спросил он.

Голос был низкий, спокойный, без насмешки. И я впервые за весь день не знала, что человек собирается сказать.

— Да, — сказала я. — Извините. Я обозналась.

Он посмотрел на мою папку, потом на моё лицо, и уголок рта у него дёрнулся, будто он хотел что-то спросить и передумал.

— Бывает, — сказал он.

Строем выкрикнули команду, он повернулся и пошёл, а я стояла у стены с папкой у груди и слушала, как возвращается шум. Пирожник, голуби, ребёнок, гвардейцы, женщина в платке, которая уже не думала про мужа, потому что шла думать про детей.

И тогда я поняла, что впервые за двадцать три года встретила человека, которого не слышу, и что это единственное, чего я по-настоящему боюсь.

Домой я шла через кожевенный ряд, потому что там было короче, а короче значило меньше людей.

Не помогло. В ряду пахло кислой кожей и дубовой корой, из открытых дверей тянуло паром, и в этом пару работали восемь человек, и все восемь думали. Один считал, сколько ему недодали за прошлую неделю. Второй прикидывал, не сбежать ли к брату в деревню. Третий, тот, что возился у чана, думал о дочери, которую отдал замуж в прошлом году, и мысль у него была тяжёлая и одна и та же, как камень, который он ворочал: жива ли, сыта ли, не бьёт ли.

Я купила по дороге хлеба и луковицу. Три медяка, полученные за день, ушли почти все, и я шла, держа хлеб под папкой, чтобы не намок.

Наш дом стоял в конце улицы, прижавшись к чужой стене, как человек, которому не хватило места. Внизу была мастерская, наверху две комнаты. Когда я открыла дверь, отец сидел за верстаком с кистью в руке и приглаживал клей на переплёте. Он делал это так, как другие люди молятся: медленно, никуда не спеша, глядя только на своё.

— Пришла, — сказал он, не поднимая головы. — Возьми у печи, там тепло.

Он думал при этом: заказчику обещал к четвергу, а кожи на корешок не хватает, и у Брена была кожа, у Брена всегда есть, но Брен теперь задирает цену, потому что знает, что мне некуда деться.

— В канцелярии закрылись после полудня, — сказала я, снимая плащ. — По случаю.

— Слышал, — сказал отец. — По случаю нынче весь город стоит.

Мать была наверху. Она штопала у окна, пристроившись так, чтобы свет падал на иглу, и, когда я вошла, подняла глаза и улыбнулась, а думала: щёки впалые, опять не ела днём, опять эти листы, надо будет завтра выпросить у мясника костей, сварить бульон, авось поест.

— Садись, — сказала она. — Сейчас разогрею.

Мы ели за маленьким столом внизу, втроём, и это был лучший час моего дня. Отец рассказывал про заказчика, который требовал золотой обрез за медную цену, мать рассказывала про соседку, которая опять поссорилась со свекровью, и оба думали совсем не то, что говорили, и я слушала оба слоя сразу, как слушают две песни за стеной.

Отец думал: к четвергу не успеть, а если не успеть, денег не будет, а если не будет денег, то в этом месяце опять придётся просить у Брена, а Брен и так дерёт втридорога.

Мать думала: двадцать три, двадцать три, и никто ещё не сватался, а если и сватались, так она всем отказывает, и что я скажу людям.

— К нам заходила Уна, — сказала мать вслух, разливая похлёбку. — Уна, жена Гелта, торговца. У них сын вернулся из столицы, служит при складе. Мальчик с будущим.

— Мама.

— Что «мама». Я сказала только, что он вернулся.

Она думала: хоть бы посмотрела на него, хоть бы просто посмотрела, а там, глядишь, и сладится, и ушла бы она из этой канцелярии, где сотня людей и все с открытыми головами, и что, если однажды она не удержится, что, если однажды её лицо скажет раньше, чем она успеет сосчитать.

Я опустила глаза в миску. Похлёбка была жидкая, с репой, и лук я туда уже покрошила.

— Он с будущим, — сказала я. — А я с папкой.

Мать вздохнула. Отец усмехнулся в бороду, но вслух ничего не сказал, потому что знал, что за такие слова мать потом полдня будет молчать.

Потом мы убирали со стола, и мать мыла посуду, и я стояла рядом с полотенцем, и между нами было то, о чём мы никогда не говорили.

Она знала. Она узнала первой, раньше отца, и до сих пор не сказала об этом ни одной живой душе. Я слышала, как каждую ночь она думает об этом перед сном: господи, сохрани, господи, укрой, господи, сделай так, чтобы никто не узнал. Имени моего в её молитве не было, потому что имя произносить было страшно.

— Мама, — сказала я. — А если бы я не работала в канцелярии?

Она не повернулась.

— А где бы ты работала? — спросила она. — Ты грамотная. Грамотных берут в канцелярию.

И подумала: в лавку нельзя, в лавке толпа; в швейную нельзя, в швейной тридцать женщин; в богатый дом нельзя, там слуги и господа, и все думают, и все смотрят. В канцелярию, только в канцелярию, где стол у окна, где можно считать.

Я вытерла последнюю миску и повесила полотенце.

Ночью я лежала в своей каморке под крышей и слушала город.

Дом засыпал медленно. Внизу отец ещё возился с чем-то, тихо, чтобы не разбудить. За стеной мать ворочалась, и мысли у неё были сонные, обрывками: кости у мясника, бульон, четверо детей у той женщины в канцелярии, четверо, а старшему девять.

Потом она подумала: и этот гвардеец.

Я вздрогнула.

Мать думала дальше, медленно, как будто сама себя уговаривала: Уна сказала, её видели на площади, она стояла и смотрела на гвардейца, и лицо у неё было такое, будто она услышала что-то. Не дай бог. Не дай бог, чтобы она что-то услышала.

Я повернулась на другой бок и натянула одеяло до подбородка.

Значит, её видели. Значит, и другие могли видеть.

А я лежала и думала не про то, что меня выдадут, не про счёт, не про завтрашние тридцать листов. Я думала про тишину. Про то, как стояла в ней, как в тёплой комнате, где никого нет, и как мне хотелось остаться там подольше.

И ещё я думала, что теперь я знаю, как это бывает, когда человека не слышишь, и что теперь я буду искать его на площади каждый день.

На следующее утро стучали затемно.

Я проснулась от того, что внизу, под полом, отец уже встал и идёт к двери, и в голове у него было пусто от страха, только одно слово, повторённое трижды: кто, кто, кто. Мать я услышала за стеной: она тоже не спала, она просто лежала с открытыми глазами и думала про меня.

За дверью стоял человек в ливрее с гербом на груди и держал перед собой сложенный лист.

— Здесь живёт Фина, дочь переплётчика? — спросил он.

Голос у него был поставленный, как у людей, которые каждый день говорят с теми, кто ниже.

— Здесь такая живёт, — сказал отец.

Ливрейный человек повернулся ко мне. Я стояла на лестнице в рубахе и юбке, босая, и в его голове было написано ровным писарским почерком: молодая, двадцать с небольшим, лицо обыкновенное, волосы тёмные, ничего особенного, и зачем только короне такие.

— К девяти часам быть во дворце, — сказал он вслух и протянул лист. — Спросите хранителя печати. Опаздывать не велено.

Он ушёл. Отец развернул лист и читал его долго, шевеля губами, потому что буквы были писарские, а не книжные.

— «Фине, дочери переплётчика, явиться…» — пробормотал он. — «…в связи с делом короны». Что за дело, не написано.

Мать уже стояла рядом. Она не спросила, что случилось. Она посмотрела на меня, и я услышала в её голове одну длинную мысль, без единой запятой: узнали узнали узнали.

— Это не то, — сказала я. — Мама, это не то. Меня вызывают как писца, наверное. Переписать что-нибудь.

Она кивнула. Она не поверила, и я это слышала.

К девяти я стояла у ворот дворца, в лучшем платье, которое у меня было, с чистым воротником и с косой, перевязанной лентой, взятой у матери без спроса.

Своды в коридорах были выше, а сквозняк холоднее, чем я думала. По стенам висели гобелены, изображавшие охоту, и на всех лицах у охотников было одно и то же выражение, как у людей, которым сообщили неприятное. Меня вели двое, впереди и позади, и я шла и слышала, как позади думают: долго ли ещё, а у меня обед, а эта-то что, из писцов, что ли.

Хранитель печати сидел в комнате с окном во двор. Ему было лет шестьдесят, и лицо у него было усталое и спокойное, как у человека, который давно перестал удивляться.

— Садитесь, — сказал он.

Я села на край стула.

— Ваше имя — Фина, — сказал он. — Дочь переплётчика, служите в канцелярии третий год. Так?

— Так.

Он помолчал. И подумал: она не знает. Она правда не знает.

— Круг остался без Главной, — сказал он.

Я не поняла. Он, видимо, увидел это по моему лицу.

— Вы знаете, что такое Круг?

— Слышала, — сказала я. — Ведьмы при короне. Их девять. Они гадают Государю о войне и лечат от порчи.

— Они не только гадают, — сказал хранитель печати. — Они держат границы от того, что стоит за границами. Девятеро держат то, что держать тяжело. А во главе их стоит Главная.

Он встал и подошёл к окну.

— Позавчера в Бренской пустоши сгорел кордон. Главная там была. Её нашли на пепле, и от неё осталось столько, что мы не стали показывать родне. Круг теперь без головы, а Круг без головы — это девять женщин, каждая из которых считает, что она знает, как правильно.

Я сидела и не двигалась. Я понимала каждое слово по отдельности и не понимала ни одного вместе.

— Я не ведьма, — сказала я. — Я умею переписывать указы.

И тогда он повернулся.

— Главную выбирает не Совет, — сказал он. — И не корона. Главную называет дар. Дар ищет по всей стране и отзывается один раз в жизни, на одной женщине. Вчера ночью Круг сошёлся и жег воду. Вода показала вас.

В его голове в эту минуту было написано: двенадцать лет я на этой должности, и я видел, как вода показывает старух, детей, швей, нищенок, и я видел, как они отказываются, и я видел, как их потом не находят.

— Ошибка, — сказала я.

— Вода не ошибается.

— Я не знаю никаких обрядов. Я не умею держать границы. Я даже не знаю, что за границы.

— Этому учат, — сказал хранитель печати. — Обряды, к сожалению, придётся знать. Остальное приложится.

Я хотела засмеяться и не смогла. Руки у меня стали мокрые, и я спрятала их под платьем.

— Я откажусь, — сказала я.

Он не удивился.

— Ваш отец держит мастерскую в долг, — сказал он спокойно. — Короне он должен двести восемьдесят марок, платить ещё четыре года, и платит исправно.

Я молчала.

— Если вы согласитесь, долг прощается сегодня же, — сказал он. — Мастерская станет его. Если вы откажетесь, я, конечно, не стану требовать деньги завтра. Но у короны много способов вернуть своё, и они все законные.

Вот и всё. Вот и весь разговор.

Я сидела на краю стула и слышала, как он думает: пусть откажется, тогда я скажу Совету, что вода ошиблась, и мы проживём ещё год, а через год на границе прорвёт, и тогда не будет ни мастерской, ни отца, ни канцелярии, ни города, в котором всё это стоит.

За дверью ходили люди. Думали про обед, про опоздание, про чьи-то долги. Девять женщин внизу, в круглой комнате, ждали ответа.

— Их девять, вы сказали, — сказала я. — Они меня не примут.

Хранитель печати усмехнулся.

— Не примут, — согласился он. — Они вас и не должны принимать. Вы их возглавите.

Он вернулся к столу, взял с него лист и протянул мне.

— Здесь ваше согласие, — сказал он. — Ваше имя, ваша рука. До полудня.

Лист был плотной бумаги, с водяным знаком в виде короны, как те листы, что я переписывала вчера. Внизу стояла жирная точка и место для подписи.

Я взяла лист.

И тут я услышала самое главное, что он думал, и это было совсем не про марки и не про мастерскую. Он думал: главное, чтобы она подписала до полудня, потому что если Совет узнает, что дар отозвался на той, что живёт в Кожевенном конце, и если она не подпишет, то к вечеру её найдёт не Совет, а те, кто ищет по всей стране без всякой воды.

— Кто меня найдёт? — спросила я.

Хранитель печати замолчал.

Я первый раз в жизни увидела, как человек бледнеет от страха за другого.

— Вот поэтому до полудня, — сказал он.

Вниз вели двадцать две ступени.

Я считала их, пока шла, потому что руки у меня дрожали и надо было занять голову хоть чем-нибудь. Хранитель печати шёл впереди, держа фонарь, и его мысли были заняты простым: ступени стёрлись посередине, надо бы сказать кому-нибудь, чтобы приказали вытесать новые.

Внизу была круглая комната.

Камень, свод, девять свечей в железных чашах и посреди пола чаша побольше, полная воды. Вода стояла неподвижно, хотя сквозняка не было. Вокруг чаши сидели женщины.

Я насчитала девять, и все девять посмотрели на меня одновременно.

Самой старшей было, наверное, шестьдесят. Она сидела справа от чаши, и лицо у неё было как печёное яблоко, сморщенное и тёмное. Рядом с ней сидела женщина лет сорока с длинной светлой косой, заколотой вокруг головы, и её я услышала громче всех: значит, вода всё-таки показала, значит, не соврала, и вот эта, из канцелярии, с косой, как у девчонки, будет нами командовать, господи, дай мне терпения.

Третья, черноволосая, с поджатыми губами, сидела от чаши дальше всех, будто не хотела быть ближе, и думала она так, что я вздрогнула: я же говорила, я говорила, что воду надо было жечь в полнолуние, а не вчера, и что теперь, и кто теперь ответит, и мне же и отвечать.

Остальных я не успела разобрать. Они думали вразнобой, и это был такой гул, будто я стояла в клетке с птицами.

— Это она? — спросила старшая вслух.

— Она, — сказал хранитель печати.

Старшая встала и подошла ко мне. Она была мне по плечо и смотрела снизу вверх, но я почему-то почувствовала себя маленькой.

— Как тебя зовут?

— Фина.

— Чья?

— Дочь переплётчика.

— Переплётчика, — повторила старшая, и в её голове было: двадцать лет я ищу смену, двадцать лет, и вода выбрала дочь переплётчика, и что я скажу сёстрам на границе.

Вслух она сказала:

— Я Велга. Старейшина в Круге — я, пока у Круга нет головы.

Она повернулась к чаше.

— Вода тебя назвала. Покажи, что она не ошиблась.

В комнате стало тихо, и тишина эта была плотнее любого гула. Женщины смотрели на меня, и я слышала каждую: одна думала, что сейчас будет, другая — что не будет ничего, третья прикидывала, успеет ли она выйти замуж, если Круг развалится.

Я стояла у чаши и смотрела в воду. В воде отражалась я: растрёпанная коса, чистый воротник, лицо, которое я сама себе не нравилось.

Что мне было показать?

Я умела слышать. Именно это, и ничего больше. Я могла бы сейчас сказать им, о чём они думают, и они бы, наверное, поверили. И тогда к вечеру весь дворец знал бы, что новая Главная читает людей, как открытые книги, и что с ней можно делать после этого, я даже представлять не хотела.

— Я ничего не умею, — сказала я.

Черноволосая усмехнулась. Я услышала её мысль прежде, чем усмешку: ну наконец-то, хоть одна честная.

— Совсем ничего? — спросила Велга.

— Я умею переписывать указы.

Кто-то у чаши прыснул. Девять женщин, девять свечей, и надо мной смеются в подвале дворца.

— Вода не ошибается, — сказала Велга, но голос у неё был не такой уверенный, как слова. — Дар просыпается от нужды. Он проснётся.

— Когда? — спросила я.

— Когда понадобится.

Она сказала это так, как говорят «когда-нибудь», и я поняла: никто не знает.

Хранитель печати поставил фонарь на пол и вынул из-за пазухи лист, тот самый, с точкой для подписи. Чернильница у него была прицеплена к поясу, как у писца, и это почему-то успокоило меня больше всего остального: хоть что-то в этом подвале было устроено знакомо.

— Подпишите, — сказал он.

Я взяла перо.

В эту минуту все девять думали обо мне, и я слышала это как девять голосов над ухом.

Велга думала: если подпишет, я останусь при ней, я буду ей нужна, я буду её руками, а если не подпишет, то я снова старуха при чаше.

Черноволосая думала: подпиши, подпиши, я хочу посмотреть, как ты сдохнешь на границе.

Светловолосая с косой думала: она боится, как я боялась, господи, она боится, как я боялась.

И ещё одна мысль, которой я не ждала, пришла от той, что сидела ближе всех к стене, в тени, и до этого не сказала ни слова. Женщина лет тридцати, в зелёном, с тонким лицом, смотрела на меня спокойно и думала:

Вздрогнула, едва я о ней подумала. Значит, слышит.

Перо в моей руке остановилось над бумагой.

Я поставила подпись.

— До полудня, — сказал хранитель печати, забирая лист и присыпая подпись песком. — Значит, успели.

Велга выдохнула. Черноволосая отвернулась.

А женщина в зелёном так и осталась сидеть у стены, и когда я пошла к ступеням, я спиной чувствовала её взгляд и слышала, как она думает, не спеша, будто переписывая строчку набело:

Что ж. Теперь посмотрим, кто ты.

Наверху было солнце, и от него у меня сразу заболели глаза: в подвале я просидела, наверное, целый час, а казалось, что неделю.

Я вышла во двор, обогнула фонтан и села на каменную ступеньку у стены, потому что ноги не держали. Я подписала. Лист остался у хранителя печати. Значит, теперь я была Главной, и это уже нельзя было отменить никаким счётом.

Мимо ходили люди.

Слуга с корзиной думал о том, что повар вчера опять напился. Две прачки, шедшие с бельём, обсуждали чью-то свадьбу и при этом обе думали совсем не про свадьбу. Стражник у ворот считал, сколько ему осталось до смены. Я сидела на ступеньке и слушала, потому что не могла не слушать, и от этого гула у меня в затылке начиналась та самая тупая боль, которая всегда приходила к вечеру.

А потом стало тихо.

Не совсем. Прачки не замолчали, слуга не исчез, кто-то за стеной перекатывал бочку. Но тот липкий слой, который лежал поверх всего, исчез, как будто кто-то вынул вату из ушей.

Я подняла голову.

Он стоял в десяти шагах, у колонны, и смотрел на меня. Тот же тёмно-синий кафтан с чужого плеча, те же подвёрнутые манжеты, тот же шрам через бровь. Только теперь на нём был ещё и шлем, который он держал в руке, и от этого волосы у него были примяты с одной стороны.

— Опять вы, — сказала я.

— Я здесь стою, — сказал он. — Это вы пришли на моё место.

Я не нашлась, что ответить. В голове у меня было тихо, и от этой тишины мысли шли медленно и как будто впервые за долгое время принадлежали мне одной.

Он подошёл ближе и остановился в двух шагах.

— Вчера вы на меня смотрели, — сказал он. — Так, будто я вам что-то должен.

— Вы мне ничего не должны.

— Тогда почему?

Я могла соврать. Я хорошо умела врать, я двадцать три года только этим и занималась. Но врать человеку, которого не слышишь, было почему-то труднее, чем всем остальным.

— Вы не шумите, — сказала я.

Он поднял бровь, и шрам дёрнулся вместе с ней.

— Не шумлю?

— У вас тихо. — Я сказала это и поняла, что звучит глупо, и всё равно продолжила: — Я привыкла, что вокруг всегда много. У вас вокруг мало. Это редкость.

Он помолчал, глядя на меня внимательно, и я поймала себя на том, что жду его мыслей. Их не было. Это было как стоять перед закрытой дверью и знать, что за ней комната.

— Меня зовут Каэль, — сказал он.

— Фина.

— Я знаю.

Я замерла.

— Знаете?

— С утра говорят, — сказал он спокойно. — Круг остался без Главной, и вода выбрала какую-то девушку из канцелярии. Я стоял в карауле у галереи, а мимо шли двое и спорили, правда ли, что она умеет переписывать указы.

Он усмехнулся уголком рта.

— И правда ли, что она будет держать границу.

Вот и всё. Слух разошёлся из подвала за час, как вода по щели.

— Значит, вы уже всё знаете, — сказала я. — И всё равно спросили, почему я на вас смотрю.

— Я хотел услышать, как вы сами скажете.

У меня за спиной хлопнула дверь, из неё вышли двое гвардейцев, и я услышала их раньше, чем увидела: один думал о том, что Каэлю опять повезло с постом в тени, второй думал что-то недоброе, короткое и обидное, вроде «чужак», и я не стала дослушивать.

Каэль не обернулся.

— Вы давно здесь служите? — спросила я.

— Второй день. Перевели с северной границы.

— Откуда именно?

— С Бренского кордона. — Он сказал это коротко, и я услышала, как он дышит, а мыслей его по-прежнему не было ни одной.

Я посмотрела на него.

Про Бренский кордон я узнала сегодня утром, в комнате с окном во двор, и узнала, что там сгорело всё и что от Главной осталось столько, что не стали показывать родне. А он стоял здесь, в двух шагах, живой, с примятыми волосами и шрамом через бровь.

— Что там случилось? — спросила я.

Каэль молчал.

— Вы не ответите.

— Я не знаю, — сказал он наконец. — Я был в ночной смене на другом конце. Пришёл, когда уже горело.

И впервые за весь разговор я поймала себя на том, что всё жду, что он подумает что-нибудь ещё, а ничего не приходило.

— Мне пора, — сказала я и встала со ступеньки.

— Фина.

Я обернулась.

Он смотрел на меня, держа шлем под мышкой, и солнце било ему в лицо, так что глаза приходилось щурить.

— Если вам понадобится кто-то, кто умеет молчать, — сказал он, — я стою здесь до вечернего колокола. Каждый день.

Я кивнула и пошла через двор к воротам, и всю дорогу у меня в голове было тихо, и я думала только о том, что нужно сосчитать шаги от ворот до улицы, потому что иначе я непременно обернусь.

В канцелярию я не пошла.

Дома пахло клеем.

Отец сидел за верстаком и прижимал к переплёту кожу, и когда я вошла, он поднял голову и посмотрел на меня поверх зажатой в руке тряпки.

— Ну что? — спросил он.

Он думал: цела, живая, не забрали, не суд, не долг, слава богу, слава богу.

И я поняла, что сейчас всё это у него отниму.

— Меня поставили во главе Круга, — сказала я.

Отец не двинулся.

— Какого круга?

— Ведьмы. Те, что при короне. Их девять, и у них была Главная, а теперь она умерла, и вода показала меня.

Он положил тряпку на верстак, очень аккуратно, как стеклянную.

— Ведьмы, — повторил он.

— Папа.

— Ведьмы, — сказал он ещё раз, и в голове у него была такая пустота, что мне стало хуже, чем от крика.

Наверху скрипнула половица. Мать стояла на лестнице, держась за перила: нет, нет, нет, нет.

— Я не могла отказаться, — сказала я. — Долг за мастерскую прощён. Двести восемьдесят марок. Уже сегодня.

Отец медленно встал со скамьи.

— Кто тебе сказал про долг?

— Хранитель печати.

— Значит, корона знает, сколько я должен. — Он сказал это тихо. — Значит, корона считала. И корона нашла, чем меня купить.

— Он не покупал. Он сказал, что если я откажусь, то всё равно вернёт своё. Он не угрожал, он просто...

— Он не угрожал, — повторил отец. — Он просто посчитал. Это и есть угроза, Фина. Когда человек считает тебя, как считают товар, он уже не угрожает, он просто знает цену.

Мать сошла с лестницы. Лицо у неё было белое, и она шла так, будто её вело что-то помимо воли.

— Откажись, — сказала она.

— Мама.

— Откажись сейчас же. Пойди и откажись, пока не поздно.

— Поздно, — сказала я. — Я подписала.

Мать остановилась.

И я услышала её мысль, длинную, ровную, страшную, как приговор: подписала, значит, теперь её будут проверять, теперь её будут смотреть, теперь придут дознаватели и будут искать, чем она держит границу, и найдут, и тогда, тогда, господи, тогда казнят обеих.

Я застыла.

Обеих.

Я стояла в мастерской, где пахло клеем и кожей, и смотрела на мать, и слышала, как она думает это слово ещё раз, и ещё, и ещё: обеих, обеих, обеих, потому что я так и знала, я всегда знала, что этим кончится.

— Мама, — сказала я.

Она подняла на меня глаза.

— Что ты сказала?

Я ничего не спрашивала. Просто смотрела на неё, и она это поняла, и я увидела, как в её лице что-то закрывается, как закрывают ставни перед бурей.

Отец переводил взгляд с неё на меня.

— Что происходит? — спросил он.

Никто ему не ответил.

— Фина, — сказала мать, и голос у неё был ровный, тот самый, которым она говорила «садись есть» и «не спорь с соседкой», — иди наверх и поешь. Я тебе оставила.

Она думала при этом: не сейчас, только не сейчас, не при нём, я ей всё скажу, но не при нём.

Я поднялась наверх.

В моей каморке было тепло и пахло нагретым деревом. Я села на кровать, не снимая платья, и посмотрела в окно: там, внизу, шёл по улице человек с корзиной, и рядом бежала собака, и всё было как всегда, как вчера, как год назад.

Только я теперь стояла во главе Круга, и моя мать думала про казнь.

И не про одну.

Глава 2

Мать пришла ко мне ночью, когда отец уже спал.

Я услышала её раньше, чем она ступила на лестницу: сначала скрип половицы внизу, потом мысль, короткая и тяжёлая, как мешок с мукой: надо сказать, надо сказать, а если не скажу, она узнает от чужих.

Она вошла, держась за косяк, в рубахе и тёплом платке, накинутом на плечи. Свечу не принесла, чтобы не разбудить отца, и в темноте я видела только её силуэт.

— Ты не спишь, — сказала она.

— Не сплю.

— Я знаю. Я слышу.

Она сказала это очень просто, как говорят «я знаю, у тебя болит голова», и у меня внутри что-то оборвалось.

Я села на кровати. Одеяло сползло, из щели под крышей тянуло холодом, и я подтянула его к груди.

— Что ты слышишь? — спросила я.

Мать присела на край кровати. Она всегда садилась на самый край, готовая в любой миг встать и уйти.

— Сейчас — что ты испугалась, — сказала она. — И что ты хочешь, чтобы я ушла и ничего не говорила. Это я слышу громко. Остальное тише.

— Ты... — Я не могла подобрать слово. — Ты тоже?

— Тоже.

Внизу отец перевернулся на другой бок, и кровать под ним скрипнула. Мы обе замерли, как воры, и я поймала себя на том, что прислушиваюсь к его мыслям: сон, сон, кожа не готова, к четвергу не успеть. Обычное, тёплое, своё.

Мать ждала.

— С каких пор? — спросила я.

— С семи лет. — Она помолчала. — Я тогда жила у тётки, в Кузнечном конце, и носила обед деду. И один раз я пришла, а он сидел на лавке и думал, что ему не дожить до зимы. Он ничего не сказал. Он спросил, как тёткина нога. А я ответила, что доживёт.

— И что?

— И он посмотрел на меня так, что я до сих пор помню. — Мать сцепила пальцы. — Потом он сказал тётке: девка у тебя странная. Тётка сперва смеялась, потом перестала. А через месяц меня увезли в другой город, к её сестре, и там я жила до замужества, и там никто ничего не знал.

Она говорила тихо, как будто рассказывала не про себя, а про соседку, о которой слышала краем уха.

— Ты поэтому меня учила считать, — сказала я.

— Поэтому. — Мать кивнула. — Я маленькая считала ступени. У нас в доме было двадцать две ступени, я их считала вперёд и назад, пока в голове не становилось пусто. И тебя научила, потому что не знала, что ещё сделать.

Я вспомнила двадцать две ступени во дворце, и мне стало холодно.

— Почему ты мне не сказала?

— А что бы это изменило? — спросила она, и в голосе у неё впервые зазвенело. — Ты бы росла и знала, что ты не одна такая, и что мать такая же, и что нас обеих могут... — Она замолчала.

— Что нас обеих могут?

Мать долго не отвечала. Потом вздохнула, и вздох у неё был такой, как вздыхают, поднимая что-то очень тяжёлое.

— Ты слышала про закон о порче?

— Слышала.

— Ты думаешь, он про тех, кто наводит порчу на скот.

— А разве нет?

— Он про нас, — сказала мать. — В нём написано: кто читает в человеке то, что человек не сказал, тот вор. Вор мысли. И судят его как за кражу, только строже. — Она помолчала. — А того, кто знал и не донёс, судят с ним вместе. Так в законе, Фина. Я это вычитала у отца, когда он ещё брал заказы от писцов. Он тогда ничего не понял, а я поняла.

Вот откуда «обеих».

Я сидела на кровати и смотрела в темноту, в угол, где на гвозде висело моё платье. Всё это время я думала, что боюсь за себя. А получалось, что мать всю мою жизнь боялась за нас двоих и молчала, и я даже не догадывалась, что она молчит не из осторожности, а потому, что ей есть что терять.

— Мама, — сказала я. — Я не знала.

— И хорошо, что не знала. — Она вдруг усмехнулась, криво и коротко. — Одной молчать легче. Когда молчишь за двоих, всё время кажется, что проговоришься.

— Ты проговорилась?

— Один раз, — сказала она. — В девках, в трактире. Я работала на кухне, и повариха подумала: опять эта дура пересолила. А я вслух сказала: не пересолила. — Мать помолчала. — Она на меня посмотрела. И я сразу поняла, что сказала. Я тогда выронила горшок, будто от испуга, и заревела, и она решила, что я просто дура, которая плачет из-за горшка. Только я с той ночи не сплю так, как раньше.

— Она поверила?

— Она решила, что я дура. Это лучше, чем ведьма. — Мать пожала плечами. — Но я тогда месяц ходила и ждала, что за мной придут.

Она замолчала, и в тишине стало слышно, как внизу, в мастерской, капает клей из банки: кап, кап, кап, редко и ровно.

— Я не могу отказаться, — сказала я. — От Круга. Я подписала.

— Знаю, — сказала мать. — И теперь слушай меня внимательно, потому что я это знаю лучше, чем хранитель печати.

Она повернулась ко мне, и в темноте я увидела её лицо, и оно было не испуганным. Оно было злым.

— Ты не должна им показывать, что умеешь. Никому. Ни старухе, ни тем, кто помоложе. Пусть думают, что вода ошиблась и ты пустая.

— Они и так думают. Я им сказала, что ничего не умею.

— Сказала — хорошо. — Мать кивнула. — Но там есть одна, в зелёном. Я её видела утром, когда шла за тобой. Она стояла у ворот и смотрела, как ты входишь.

Я вздрогнула.

— Ты шла за мной?

— Я проводила тебя до дворца. — Мать сказала это так, будто это ничего не значило. — И эта, в зелёном, стояла и смотрела. Я её не слышала, Фина. Совсем. У неё в голове была дверь, и дверь была закрыта.

— Что это значит?

— Это значит, что она умеет закрываться, — сказала мать. — Так умеют те, кому есть что прятать. Или кого держат за руку с той стороны. Есть такие люди, Фина. Их немного. Ты их не слышишь и думаешь, что рядом никого нет, а они стоят и смотрят.

Я сидела и молчала, и во рту у меня было сухо.

— Если тебе попадётся такой человек, — сказала мать, — ты отойди и не оглядывайся. Поняла? Особенно если это мужчина и он к тебе добр.

— Почему особенно?

— Потому что с добрым труднее поверить, — сказала она.

Она встала, опять на самый край, и одёрнула платок.

— Спи, — сказала она. — Тебе завтра во дворец.

И уже у двери обернулась.

— И ещё, Фина. Если тебе попадётся такой, кого ты не слышишь, — скажи мне. Сразу скажи. Не таись.

— Хорошо, — сказала я.

Она ушла, и половицы под ней скрипели до самого низа.

Я лежала и смотрела в потолок. Кап, кап, кап шло снизу. За стеной мать легла и долго ещё думала одно и то же, по кругу: лишь бы не тот, лишь бы не тот, лишь бы не тот.

А я думала про гвардейца, который вчера стоял во дворе у колонны, и про то, что я уже соврала матери, и что теперь мне придётся врать каждый день.

Утром я шла через площадь и искала его.

Не признавалась себе в этом, конечно. Я смотрела по сторонам так, как смотрят люди, которым просто интересно, почём нынче ленты, и при этом успела заметить, что у пирожника подгорела партия, что у ворот сменили стражу и что у фонтана никакого гвардейца нет.

Дворец стоял, как стоял. Гобелены с охотой висели на прежних местах, охотники смотрели на меня всё с тем же выражением.

Вниз вели двадцать две ступени. Я их снова считала.

На этот раз в круглой комнате горели все девять свечей, и в ней было не так темно, как вчера.

— Садись, — сказала Велга, не здороваясь.

Я села на свободный табурет у стены, и девять женщин посмотрели на меня так, как смотрят на новую мебель.

— Начнём с простого, — сказала Велга. — Ты знаешь, что делает Главная?

— Держит границу.

— Все держат, — сказала она. — Каждая из нас. Девять держат, а Главная — узел.

Она подошла к чаше и провела рукой над водой. Вода не дрогнула.

— Узел — это концы. Их девять, по одному от каждой. Главная собирает их и держит вместе. Если узел развязан, они расходятся, и тогда каждая тянет в свою сторону, и граница рвётся там, где тоньше.

— Я не знаю, как это делать, — сказала я.

— Никто не знает, пока не сядет, — сказала светловолосая с косой. — Я Аста. Я держу западный конец, от Воротной пустоши. — Она говорила быстро, будто боялась, что её перебьют. — Сядешь ночью, положишь руки, и оно само.

— Само, — повторила черноволосая. — Скажи ещё, что оно само и выберет, кому жить.

Велга обернулась к ней.

— Дагна.

— Что «Дагна». — Черноволосая не отвела глаз. — Я держу восточный конец двадцать лет. Я знаю, что там стоит. И я не хочу, чтобы ночью узел держала дочь переплётчика, которая умеет переписывать указы.

В комнате стало тихо, и я услышала, как девять женщин думают разное, но в одном направлении: Дагна права, Дагна наглая, Дагна боится, Дагна не хочет уступать.

— Её выбрала вода, — сказала Велга. — Не я и не ты.

— Вода ошиблась.

— Тогда сядь и докажи.

Дагна встала. Она была высокая, с широкими плечами, и двигалась так, как двигаются люди, привыкшие, что их слушаются. Она подошла к чаше и опустила в воду обе руки.

Вода пошла кругами. Я увидела, как от её пальцев по поверхности расходится рябь и как в глубине, под рябью, что-то шевельнулось, тёмное, будто вода в чаше была не водой, а густой тканью, которую тянули с другой стороны.

У меня заломило виски.

— Чувствуешь? — спросила Дагна, не поднимая головы.

Я не чувствовала ничего, кроме боли.

— Нет.

Она вынула руки, и вода в чаше замерла, как будто ничего и не было.

— Вот и я о том, — сказала Дагна и вытерла ладони о юбку.

— Сядь, — сказала Велга. — Теперь ты.

Я встала.

Я подошла к чаше, и внутри у меня было так, как бывает перед прыжком в холодную воду: всё сжимается, а назад уже нельзя. Край чаши был тёплый, будто её только что держали над огнём.

— Опусти руки, — сказала Аста.

Я опустила.

Вода была тёплая. Я ждала, что что-то будет: толчок, свет, голос, что угодно, о чём рассказывают в сказках. Я стояла, держа руки в тёплой воде, и слышала, как девять женщин думают обо мне, и как в животе у Асты урчит от голода, и как Дагна считает про себя до ста, чтобы не сказать вслух того, что думает.

И всё.

— Хватит, — сказала Велга.

Я вынула руки. С пальцев капало.

— Может, нужна кровь? — спросила одна из тех, кого я ещё не знала по имени. — В старых книгах...

— В старых книгах много чего написано, — оборвала её Велга. — Она не ведьма, у неё нет крови Круга. Дар просыпается от нужды, я уже говорила.

— Когда понадобится, — сказала Дагна. — Так и будем ждать, пока понадобится?

— А что ты предлагаешь? — спросила Велга. — Отправить её на границу, чтобы она там умерла? Вода её выбрала. Значит, она будет держать узел.

— И уронит его в первую же ночь.

— Тогда уронит вместе с нами, — сказала Велга, и в её голосе не было ни капли утешения.

Все начали говорить разом. Я стояла у чаши и слушала их мысли, и мысли были куда честнее слов: Дагна думала, что старуха совсем выжила из ума; Аста думала, что новая, может, и справится, если учить; кто-то думал о муже и детях; кто-то о том, что пора просить прибавку к жалованью, раз у Круга новые заботы.

— Довольно, — сказала Велга. — Сегодня ночью она сядет с нами. Все девять будут держать, а она — смотреть. Учиться. И если узел поедет, мы удержим своими руками.

Дагна фыркнула, но села.

— После обеда приходи, — сказала мне Велга. — Я покажу тебе, как читать воду. Хотя бы это ты должна уметь.

Я кивнула и пошла к ступеням.

На третьей меня догнали шаги.

— Не спешите, — сказала женщина в зелёном.

Наверху, у ступеней, света было больше, и я разглядела её как следует. Лет тридцать, тонкое лицо, тёмные волосы убраны гладко, ни одного украшения, только зелёное платье. Она не улыбалась.

— Я Ирма, — сказала она. — Я держу южный конец. — Она помолчала. — И вчера я подумала про вас одну вещь, а вы вздрогнули.

Я не нашлась, что сказать.

— Не бойтесь, — сказала Ирма. — В Круге у каждой есть своя тайна. У Велги — её годы, у Дагны — её восточный конец, у меня — моя.

— Что вам нужно? — спросила я.

— Пока ничего. — Она поднялась на две ступени, так что стала выше меня, и посмотрела сверху вниз, спокойно, без всякой угрозы, и от этого спокойствия мне стало хуже, чем от угрозы. — Но я не люблю, когда меня держат за дуру. А вы, когда подписывали, не сказали им главного.

— Я ничего не умею.

— Умеете, — сказала Ирма. — И когда понадобится, — она чуть выделила это слово, — у вас будет выбор, кому об этом сказать. Я бы хотела оказаться первой.

Она прошла мимо и вышла, а я осталась стоять на ступенях с мокрыми руками и с мыслью, что до вечера мне надо решить, кто из десяти женщин во дворце опаснее.

После обеда круглый зал был пуст.

Без свечей он казался больше. Свет падал сверху, из узкого окна под самым сводом, и в нём было видно, что камень на стенах порос мхом, а между плитами пола набилась пыль. Соляные чаши стояли пустые, и в них лежала серая корка.

Велга сидела у чаши на низкой скамейке, закатав рукава. Перед ней стояло ведро.

— Иди сюда, — сказала она. — Садись.

Я села напротив.

— Читать воду просто, — сказала Велга. — Труднее понять, что она тебе не врет. Смотри.

Она зачерпнула из ведра ковшом и вылила в чашу. Вода легла неровно, побежала кругами, и Велга положила на поверхность ладонь, не погружая её, а держа над водой, в палец от воды.

Круги пошли ровнее.

— Я подумала о своём колене, — сказала она. — Оно у меня ноет с осени. Вода ответила.

— Как?

— А ты посмотри.

Я посмотрела. Вода в чаше стояла гладкая, и по ней шли мелкие круги, ровные, как от брошенного камешка, и они не гасли.

— Это ответ?

— Это ответ. Он держится, пока я о нём думаю. Перестану — разойдётся.

Она убрала ладонь, и через несколько мгновений вода стала гладкой.

— Теперь ты. — Велга встала и подтолкнула ко мне ведро. — Долей и положи руку.

Я долила. Вода была холодная, из колодца, и от неё пахло камнем.

— Ладонь над водой, не в воде.

Я положила ладонь над водой.

— Думай о чём-нибудь простом. Что ты ела утром.

Я подумала о хлебе. Вода стояла.

— Не смотри на неё так, — сказала Велга. — Ты смотришь, как на человека, который должен тебе ответить. Вода не должна. Она может.

Я попробовала снова. Хлеб, хлеб с луком, лук горький, потому что прошлогодний.

Вода стояла.

— Может, я не так держу? — спросила я.

— Держишь ты так. — Велга обошла чашу и посмотрела мне на руки. — Пальцы не дрожат, ладонь на месте. Ты просто не думаешь. Ты ждёшь.

— Разве это не одно и то же?

— Нет. — Она вернулась на скамейку. — Когда думаешь, у тебя внутри есть что-то, и вода это видит. Когда ждёшь, внутри пусто, и ей нечего видеть.

Я сидела над водой и слушала, как в зале гуляет сквозняк. Где-то наверху скрипнула дверь, и в узкое окно влетела муха, и её жужжание стало самым громким звуком в комнате.

— Двадцать лет я держу свой конец, — сказала Велга. — И всё это время знаю одно: вода показывает то, что человек прячет, а не то, что он говорит. Поэтому Главная не может лгать воде. Её все равно видно.

Я опустила глаза.

— Попробуй ещё, — сказала Велга. — И на этот раз подумай о том, о чём ты никому не говорила.

Я посмотрела на неё.

— О чём?

— Ты знаешь о чём. — Велга смотрела спокойно. — У каждой есть такое. Не бойся, я не увижу. Увидит вода.

Я положила ладонь над водой.

И подумала про гвардейца.

Про то, как он стоит у колонны, как подворачивает манжеты, как смотрит на площадь, а не на меня, как сказал: «Просто скажите: Каэль, помоги».

Вода под моей ладонью замерла.

Не успокоилась, как в первый раз, а именно замерла, будто её кто-то придержал за края. Ни кругов, ни ряби, ни единой морщинки. В зале было холодно, а по воде пошёл тонкий пар.

Велга выпрямилась.

— Вот, — сказала она. — Вот так.

У меня заколотилось сердце.

— Что «так»?

— Ты думала, — сказала Велга. — И вода тебе ответила. Только не так, как мне. — Она подошла ближе и посмотрела в чашу. Пар над водой поднимался и гас. — У меня она кружит. У Дагны темнеет. А у тебя замирает.

— Это плохо?

— Это не плохо. Это значит, что у тебя другой узел. — Она помолчала. — О чём ты думала?

Вот и всё. Один вопрос, и я стою над чашей, как вор над сундуком.

— О матери, — сказала я. — О том, что она осталась одна.

Велга смотрела на меня долго.

— О матери, — повторила она.

— Да.

Она не сказала, что я вру. Она просто убрала мою руку с воды, вылила её в ведро и вытерла чашу тряпкой.

— Вода не любит, когда ей показывают не то лицо, — сказала она, не глядя на меня. — Она запоминает. И ночью, когда ты сядешь с нами, она покажет всем девяти то, что ты в неё положишь. Не мне одной. Всем.

Я стояла и смотрела, как она выкручивает тряпку.

— Так что подумай до полуночи, — сказала Велга. — О чём ты будешь думать, когда сядешь.

Она пошла к ступеням, и её шаги отдавались под сводом. У двери она остановилась.

— И ещё. Ты не мать свою вспоминала. — Она обернулась. — Я двадцать лет читаю воду и знаю, как она отвечает на чужую жалость. На жалость она кружит, как у меня. А у тебя замерла.

И вышла.

К вечернему колоколу я вышла во двор.

День клонился к закату, камень под ногами отдавал теплом, и фонарщик уже шёл вдоль стены с лестницей, зажигая огни по одному. Ворота были открыты, за ними гомонила площадь, и над всем этим висел тот вечерний гул, от которого к ночи всегда начинала болеть голова.

Он стоял у колонны.

Я увидела его от дверей и почему-то сразу замедлила шаг. Он был на том же месте, в том же кафтане, со шлемом под мышкой, и смотрел в мою сторону так, будто ждал именно меня и ничуть не сомневался, что я приду.

И в голове у меня стало тихо.

Я подошла.

— Добрый вечер, — сказала я.

— Добрый, — сказал он.

И замолчал, и я тоже замолчала, и несколько мгновений мы стояли, как двое людей, которые не знают, с чего начать. Вокруг ходили, стучали, перекликались, а у меня в голове было пусто и легко.

— Вы сказали, что стоите тут до колокола, — начала я. — Я думала, вы преувеличили.

— Я не преувеличиваю, — сказал он. — Это от лени. Проще стоять, чем придумывать, куда идти.

Я не поняла, шутит он или нет, и он, кажется, увидел это по моему лицу.

— У вас руки красные, — сказал он.

Я спрятала их за спину, но было поздно.

— Тёплая вода, — сказала я. — У нас внизу чаша. Я держала руки.

— И что?

— И ничего.

Он кивнул, будто это был самый обычный ответ на свете.

— Мне сказали, что вода показала на вас, — сказал он. — Я думал, такие вещи делаются сразу. Ну, там, свет, гром, вода краснеет.

— Вода не краснеет, — сказала я. — Вода просто стоит. И ничего не происходит.

— Совсем ничего?

— Совсем.

Он помолчал.

— Это, наверное, унизительно, — сказал он.

Я не удержалась и фыркнула, и это вышло так неожиданно, что я даже испугалась. Стояла посреди государева двора, смеялась, как девчонка, и впервые за день у меня в голове было тихо.

— Да, — сказала я. — Унизительно.

— Ну хоть кто-то говорит правду, — сказал он.

Я посмотрела на него.

Он стоял, прислонившись плечом к колонне, и смотрел на площадь, а не на меня, и я подумала, что он, наверное, устал. У него были тёмные круги под глазами, и на щеке, у виска, тонкая свежая ссадина, которой вчера не было.

— Вы стояли в ночную? — спросила я.

— Позавчера стоял.

— А сегодня?

— Сегодня нет. Сегодня я у нижних дверей.

Я не сразу поняла.

— У каких нижних?

— У тех, что ведут вниз, — сказал он и, наконец, посмотрел на меня. — Круг ведь в подвале. Ставят двоих: одного у лестницы, одного за дверью.

— Зачем?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Приказ. Сказали: этой ночью особенно. Что-то у вас там, внизу, будут делать.

Я стояла и смотрела на него, и в голове у меня было тихо, и от этой тишины я не могла собраться с мыслями так быстро, как мне было нужно.

Значит, ночью, когда я сяду держать узел, за дверью будет стоять этот человек.

— Это вы из-за меня? — спросила я. — Встали за дверью.

— Мне не объясняют, почему ставят, — сказал он. — Я говорю «да, господин» и иду.

— И часто вы говорите «да, господин»?

— Часто. — Он усмехнулся. — Я вообще человек послушный.

Врёт, подумала я, и тут же одёрнула себя: я не знаю, врёт он или нет. Я вообще ничего не знаю, потому что не слышу его. Впервые за двадцать три года у меня не было подсказки, и я разговаривала с человеком, как все остальные люди на свете разговаривают друг с другом, — наугад.

Это было страшно и почему-то приятно.

— А вы? — спросил он. — Вы были когда-нибудь послушной?

— Я всю жизнь послушная, — сказала я. — Я три года переписываю чужие указы и делаю это очень хорошо.

— Это не то же самое.

— Почему?

— Указы можно не переписывать, — сказал он. — Можно пойти и торговать пирожками. Там платят меньше, зато совести не учат.

Я засмеялась второй раз, и он повернул ко мне лицо со ссадиной, и что-то в нём изменилось, стало проще и моложе.

— Расскажите, как там было, — сказала я. — На кордоне.

Он не спросил, откуда я знаю. Он просто помолчал немного, а потом заговорил, ровно и без выражения, будто читал список.

— Северный кордон — это три стены, ров и двадцать четыре человека. Ночью на каждой стене двое, у ворот один. Пока Главная была там, никто не боялся. Она раз в неделю обходила стены, и трава на пустоши за ровом стояла смирно, как вода в стакане.

— А вы ходили?

— Ходил. — Он усмехнулся. — Я стоял на стене, а она шла с факелом и на меня смотрела. И у меня всё время было ощущение, что она читает у меня на лице, сколько я получаю и почему не пишу матери.

Я застыла.

— Читает?

— Ну, смотрит, — сказал он. — Так, что хочется поправить воротник.

Внутри у меня что-то отпустило, и я поняла, что дышала через раз.

— А в ту ночь? — спросила я.

Он молчал дольше, чем перед этим.

— В ту ночь, — сказал он наконец, — я был не там. Я стоял на северном конце, а горело на южном. Я увидел огонь, побежал и пришёл, когда уже горело всё.

— И Главная?

— Главная была там. — Он сказал это тихо. — Её нашли на пепле. Я тогда решил, что она не успела.

— Что значит «решил»?

— Мне не показали, — сказал он. — Мне сказали: не ходи. И я не пошёл.

Я хотела спросить, откуда у него ссадина, и что значит «решил», и почему об этом не думает человек, который видел, как сгорел его кордон. Но он смотрел на площадь, и рука у него на шлеме сжалась, и я понимала, что если он и думает, то я этого не услышу всё равно.

— Мне надо идти, — сказала я. — Ночью меня зовут вниз.

Он выпрямился.

— Я вас провожу до лестницы. Мне всё равно нужно вниз.

Мы пошли через двор, и фонарщик зажёг уже последние огни, и от них на камне лежали длинные тени. У дверей он взял шлем под руку и открыл мне створку.

— Фина.

— Да?

— Когда будет нужно, — сказал он, — просто скажите: «Каэль, помоги». И всё.

— Я скажу, — сказала я.

И только на ступенях, когда за мной закрылась дверь, я поняла, что за весь вечер ни разу не почувствовала его мыслей. Ни одной.

И что я стою в тёмном переходе и улыбаюсь, как дура, и что внизу меня ждут девять женщин, чаша и ночь, которой я боюсь больше, чем пожара.

В полночь внизу жгли соль.

Её сыпали в девять железных чаш и поджигали, и от этого в круглой комнате стоял сухой, царапающий запах, от которого першило в горле. Свечи притушили, оставили только те, что у чаши.

Я сидела на табурете у стены и смотрела, как женщины рассаживаются.

Они садились не как попало. У каждой было своё место, и я видела, что места эти старые: на камне под некоторыми табуретами протёрлись светлые пятна.

— Сюда, — сказала Велга и показала на табурет у самой чаши.

Я села.

Руки у меня были холодные, и я спрятала их под платье, чтобы никто не видел, как они дрожат. За дверью, на лестнице, стояли двое. Я слышала мысли одного: он считал, сколько ему ещё стоять. Мыслей второго не было. Значит, там же был и Каэль.

— Слушай внимательно, — сказала Велга. — Мы держим концы. Ты держишь узел. Я буду говорить, что делать, а ты будешь делать и не спорить. Если тебе покажется, что что-то не так, ты скажешь. Но не отпустишь.

— Поняла.

— Не поняла, — сказала она. — Скажи вслух.

— Я не отпущу.

Велга кивнула.

— Начинаем.

Дагна, сидевшая слева, первой опустила руки в воду. За ней Аста, за ней Ирма, за ней остальные, и вода в чаше дрогнула, пошла кругами, и круги эти, вместо того чтобы расходиться и гаснуть, вставали на место и делались ровнее.

— Опускай, — сказала Велга.

Я опустила руки.

Сначала было только тепло и запах горящей соли.

Потом я почувствовала пальцы.

Не свои. Чужие: девять рук держали что-то в воде, и это что-то шло ко мне, как идут верёвки от девяти колоколов к одной руке. Я почувствовала, как в левую ладонь легла тугая, злая нить и потянула к себе; как в правую легла другая, тонкая, дрожащая; как под мизинцем легла третья, гладкая и скользкая, и как их становится всё больше, пока в руках у меня не оказалось девять концов сразу, и каждый тянул в свою сторону.

— Держи, — сказала Велга.

Я держала.

Вода под моими ладонями потемнела. В ней не отражалось ничего, и от этой темноты у меня заломило виски так, как не ломило никогда, — не тупо, как от городского шума, а остро, будто в голову вставили шило и повернули.

И тогда я услышала.

Не мысли. Мысли были в комнате, у меня за спиной, у женщин, у двоих на лестнице, и они шли ровным гулом, и я их почти не замечала. Это было другое. Это шло из воды, из-под моих рук, из тех девяти концов, что я держала, и звучало так, будто где-то очень далеко, за многими стенами, кто-то говорит тихо, и ветер несёт его слова ко мне.

Там, за границей, что-то было.

Оно дышало. Оно шевелилось, как шевелится трава под ветром, и в этом шевелении был шёпот, и в шёпоте были слова, только не на языке людей, а на каком-то другом, который я всё равно понимала.

— Фина, — сказала Велга. — Что ты чувствуешь?

Я не сразу смогла ответить.

— Тянет, — сказала я.

— Какая рука?

— Обе. Левая сильнее.

— Это Дагна, — сказала Велга, и в голосе у неё не было ни удивления, ни одобрения. — Восточный конец всегда тянет. Держи.

Я держала.

Шёпот за границей стал громче. Он не приближался, он просто делался отчётливее, как если бы человек, говоривший далеко, повернул голову в мою сторону.

И в этом шёпоте я разобрала слово.

Не своё имя. Другое, короткое, из двух слогов, и от него у меня по рукам пошёл холод, будто я опустила их не в тёплую воду, а в прорубь.

Я дёрнулась.

— Не отпускай! — резко сказала Велга.

Дагна за моей спиной сказала:

— Она сейчас уронит.

— Замолчи, — сказала Ирма.

Я сжала зубы и держала. Девять концов тянули, шёпот шёл по воде, и я поняла, что если я сейчас отпущу, то не просто уроню — порву, и там, где порвётся, будет дыра.

— Читай воду, — сказала Велга. — Не слушай, что там. Смотри, что тут.

Я посмотрела в чашу.

Под моими руками вода стояла тёмная, и в этой темноте медленно проступали девять светлых линий, тонких, как паутина. Они шли от края к краю и сходились в середине, и там, где сходились, был узел, и узел держался.

Пока я на него смотрела, он держался.

— Хорошо, — сказала Велга.

Она сказала это спокойно, и всё-таки я услышала, как у неё в голове что-то отпустило.

Шёпот за границей стих и стал тем ровным шорохом, каким и был вначале.

— Держим до первых петухов, — сказала Велга. — Потом разойдёмся.

Я держала.

Руки у меня затекли. Соль горела в чашах и гасла, и в комнате становилось холоднее. Я смотрела в воду и считала: раз, два, три. Девять концов в моих руках понемногу переставали тянуть, становились просто верёвками, и узел стоял.

А потом за границей опять зашевелилось.

Я не ждала этого. Я думала, что самое страшное уже было, но там, за девятью концами, что-то медленно, тяжело повернулось, и я услышала уже не шёпот, а голос, и голос этот был спокойный и очень усталый, как у человека, который долго шёл и наконец дошёл.

— Вот ты где, — сказал он. — Я тебя искал.

Я вцепилась в чашу.

— Кто это? — прошептала я.

Велга подняла голову.

— Что ты сказала?

Голос за границей молчал, и я слышала только воду, соль, дыхание девяти женщин и, далеко-далеко, за дверью, на лестнице, как кто-то переступил с ноги на ногу.

— Ничего, — сказала я. — Мне показалось.

Пропели петухи.

В городе их было много, и они закричали почти разом, один за другим, где-то далеко за стенами, и Велга сказала:

— Всё.

Девять женщин вынули руки из воды одновременно, будто по счёту. Я вынула свои последней, и вода в чаше сразу потемнела и успокоилась, и от неё пошёл пар, как от полоскания.

— Ну? — спросила Дагна.

— Узел стоял, — сказала Велга.

— Узел стоял, потому что мы держали.

— Узел стоял, потому что кто-то держал узел, — сказала Велга. — Ты можешь считать, что это сделала ты, мне всё равно. Но если бы она его уронила, ты бы сейчас не спорила, а искала, чем заткнуть дыру.

Дагна поднялась и, ничего не сказав, пошла к ступеням. За ней остальные. Аста на ходу сжала мне плечо, коротко, как сжимают руку на прощание.

Ирма задержалась.

Она стояла у чаши и смотрела на воду, потом на меня.

— Ты слышала что-то, — сказала она тихо.

— Я держала узел.

— И слышала.

— Вы же сами сказали: в Круге у каждой своя тайна, — сказала я.

Ирма чуть улыбнулась, одними губами.

— Сказала, — согласилась она. — Но свою я тебе пока не расскажу.

Она ушла, и я осталась одна в комнате с гаснущими чашами.

Руки у меня не разгибались. Я держала их перед собой и смотрела, как дрожат пальцы, и слышала, как в багровой темноте на камне под чашей потрескивает соль.

Потом я поднялась и пошла к ступеням.

Двадцать две.

Наверху, в переходе, было холодно. За дверью стояли двое, и в голове у меня стало тихо, только теперь я знала, с какой стороны.

Каэль стоял у стены, а второй, которого я не знала, спал стоя, привалившись плечом к косяку.

— Жива? — спросил Каэль.

Он спросил это очень просто, без всякой шутки, и я вдруг поняла, что он правда ждал и правда волновался.

— Жива, — сказала я.

Он оглядел меня, посмотрел на руки.

— Идёмте, — сказал он. — Провожу.

— Вам же стоять.

— До первых петухов. Петухи пропели.

Он открыл мне дверь, и мы вышли в переход, и второй гвардеец даже не проснулся.

Утро было где-то за стенами. Здесь, внутри, было ещё темно, и от каменных стен тянуло холодом. Каэль шёл рядом, и я слышала, как стучит его сапог и как шуршит кольчуга, а мыслей не слышала совсем.

— Вы дрожите, — сказал он.

— Холодно.

Он снял с плеча плащ и накинул мне на плечи, не спрашивая. Плащ был тяжёлый, пах сукном и дымом, и от него сразу стало теплее.

— Не надо было, — сказала я.

— Надо, — сказал он. — Мне всё равно до казармы.

Мы дошли до ворот, и сторож открыл нам створку, и в лицо пахнуло утренним воздухом: дымом, мокрой пылью и хлебом.

Каэль остановился.

— Фина.

— Да.

— Я стоял за дверью, — сказал он. — И слышал.

Я замерла.

— Вы разговаривали, — сказал он. — Я слышал, как Велга говорила, и как вы отвечали. А потом стало тихо. И в этой тишине вы спросили: «Кто это?» — Так тихо, что я едва разобрал.

Он смотрел на меня без страха и без насмешки и ждал.

— Кому вы это сказали?

Я стояла на пороге дворцовых ворот с его плащом на плечах, и за спиной у меня был двор, и лестница, и чаша, и голос, который сказал: «Вот ты где, я тебя искал».

— Я не знаю, — сказала я.

И это была первая правда, которую я сказала ему вслух.

Глава 3

Девять ночей я держала узел, и все девять прошли одинаково.

В полночь я спускалась по двадцати двум ступеням, садилась на табурет у чаши, Велга поджигала соль, и девять женщин опускали руки в воду. Я клала ладони сверху, и в них ложились девять концов: тугая злая нить слева, тонкая дрожащая справа, гладкая под мизинцем. Я держала их до первых петухов и считала.

К третьей ночи руки перестали дрожать. К пятой я научилась различать концы на ощупь, не глядя: Дагнин всегда тянул к себе и вниз, Астин дрожал, Ирмин шёл ровно, как туго натянутая струна. К седьмой Велга перестала стоять у меня за спиной и села на своё место.

Днём я читала воду.

Это было хуже, чем ночью. Ночью узел держал сам себя, я только не давала ему развязаться. Днём же надо было сидеть над чашей и думать, и вода отвечала на то, о чём я думала, а думала я, как назло, совсем не о том, о чём следовало.

Один раз я подумала про отца, и вода потемнела. Велга сказала: «Это страх». В другой раз я подумала, что не спала, и вода пошла кругами. Велга сказала: «Это жалость к себе». Про Каэля я больше не думала при ней ни разу.

За эти девять ночей я узнала ещё одно: у Круга не было никого, кроме Круга. Ни родни, ни друзей, ни дома. Женщины приходили в полночь, держали, расходились по своим комнатам во дворце и жили там, как живут монахини, — тихо, отдельно, ни с кем не сходясь. Аста иногда приносила в подвал пирожки, и это считалось событием.

На десятую ночь всё пошло иначе.

Соль горела, свечи стояли, девять рук лежали в воде. Я держала узел и считала до четырёхсот, потом начинала снова. За стеной, на лестнице, стояли двое, и мысли одного из них я слышала: он думал о сапогах, которые жмут.

А потом за границей зашевелилось.

Я ждала этого девять ночей. Я знала, что оно придёт, и всё равно вздрогнула, когда оно пришло: сначала шорох, будто ветер по сухой траве, потом дыхание, потом слова на чужом языке, которые я понимала.

— Уже лучше, — сказал голос.

Он был ближе, чем в первый раз. Не намного, но ближе, и от этой близости у меня занемели пальцы.

— Я не хочу тебя слушать, — сказала я про себя.

— Тогда не слушай, — согласился он. — Ты умеешь не слушать. Тебя мать научила.

Я чуть не выдернула руки из чаши.

— Откуда ты знаешь про мать?

— Я много чего знаю, — сказал голос. — Я знаю, как тебя зовут, знаю, сколько у тебя было ступеней в доме, знаю, что ты не слышишь одного гвардейца. Ты, кстати, зря его не слышишь. Он не так прост, как кажется.

— Уйди.

— Я не умею уходить, — сказал он. — Я и есть то, от чего не уходят. Вы зовёте меня границей, а я не граница. Я то, что за ней.

Я сжала зубы и стала смотреть в воду. Девять светлых линий сходились в узел, узел держался, и с ним было всё в порядке.

— Хорошая девочка, — сказал голос. — Держишь. Держи, держи. Мне некуда спешить.

И тогда на восточном конце рвануло.

Я почувствовала это раньше, чем поняла: Дагнина нить, которая двадцать лет тянула к себе и вниз, вдруг дёрнулась так, что у меня онемела вся левая рука.

Дагна вскрикнула.

— Держи! — крикнула Велга.

— Я держу! — Дагна рванулась на табурете, и вода в чаше выплеснулась через край. — Оно тянет! Оно тянет из-под руки!

— Не отпускай!

Я вцепилась в узел. Девять линий в тёмной воде задрожали, узел в середине качнулся, и я увидела, как одна линия, самая левая, тонко светится и натянута так, что вот-вот лопнет.

— Фина! — сказала Ирма.

Я не помню, что я сделала. Помню только, что обеими руками прижала ладони ко дну чаши и потянула на себя всё, что было в воде: девять концов, девять нитей, тёмную глубину, шёпот, дыхание, — и держала так, пока пальцы не свело.

Узел встал.

Не сразу и не гладко: он ещё качался, и Дагнина линия ещё дрожала, но он встал, и вода под моими ладонями снова стала тёмной и ровной.

— Что это было? — спросила Аста.

Дагна сидела бледная и держалась за руку.

— Там, на конце, — сказала она хрипло. — Я почувствовала. Будто кто-то взялся за нить с той стороны и потянул.

В комнате стало тихо.

— Это не прорыв, — сказала Ирма медленно. — Прорыв рвёт. А это тянули.

— Кто? — спросила Велга.

Ирма не ответила. И Дагна не ответила. И я не ответила, потому что в голове у меня, в той самой тишине, которая всегда стояла с одной стороны, кто-то очень спокойно сказал:

— Ну вот. Теперь они знают, что ты умеешь.

Петухи пропели позже обычного, и всё это время мы держали молча.

Утром Дагна не могла разжать левую руку.

Она сидела в круглой комнате, на своём табурете, и держала кисть в миске с солёной водой, а пальцы у неё были сжаты в кулак и не разгибались. От запястья до локтя кожа потемнела, как бывает, когда долго держишь руку на морозе.

— Не двигается, — сказала она, когда мы вошли. — Двадцать лет держу конец, и никогда такого не было.

Велга подошла, взяла её руку, повернула к свету.

— Больно?

— Не больно. — Дагна усмехнулась. — Мертво. Я её не чувствую.

Аста охнула и прикрыла рот ладонью.

— Это от воды, — сказала она. — От воды, да? Вода так не делает. Вода тёплая.

— Вода не делает, — согласилась Велга. — За водой что-то было.

Она отпустила руку Дагны и выпрямилась.

— Кто-нибудь ещё почувствовал?

Никто не ответил.

— Аста?

— Только что дёрнуло, — сказала Аста. — Я думала, это Дагна.

— Ирма?

Ирма стояла у чаши, сложив руки на груди.

— Я почувствовала, — сказала она. — Но не так, как Дагна. У меня конец был спокойный. А тянули с её стороны.

— Значит, тянули с востока, — сказала Велга.

— Значит, с востока, — согласилась Ирма и посмотрела на меня.

Я стояла у стены и молчала.

— Она не удержала, — сказала вдруг Дагна. — Вот и всё. Она не удержала, и меня теперь не слушается рука.

Велга обернулась к ней.

— Она удержала узел.

— Она его чуть не уронила.

— Она его удержала, — повторила Велга. — Если бы не удержала, мы бы сейчас с тобой не ругались, а искали, чем заткнуть дыру. И, скорее всего, не нашли бы.

Дагна отвернулась и опустила здоровую руку на колено.

— Двадцать лет, — сказала она тихо. — Двадцать лет я держу этот конец. Я знаю каждый камень на той пустоши. Я знаю, как там пахнет перед дождём. И вчера оттуда взялись за нить, как за верёвку от колокола.

— Кто? — спросила Аста.

— Вот это мы и узнаем, — сказала Велга.

Дверь отворилась, и на пороге появился хранитель печати.

Он был в дорожном плаще, поверх которого висела цепь, и в руке держал бумагу с печатью.

— Я не помешал? — спросил он, хотя было видно, что ему всё равно.

— Помешали, — сказала Велга. — Говорите.

Он спустился на две ступени и остановился.

— С восточного кордона донесение, — сказал он. — Ночью, за час до первых петухов, на пустоши за рвом загорелся огонь. Караул видел его со стены.

— Огонь? — переспросила Велга. — Какой огонь?

— Большой. — Хранитель печати помолчал. — Утром послали людей. Деревни Ольхи больше нет.

В зале стало так тихо, что стало слышно, как капает вода с руки Дагны в миску.

— Как нет? — спросила Аста.

— Двадцать два двора, — сказал хранитель печати. — Ни одного двора. Ни людей, ни скота, ни тел. Только пепел и ровная земля. Начальник кордона пишет, что земля ровная, как стол.

— Деревня была за рвом? — спросила Велга.

— За рвом, — сказал хранитель. — Вплотную. Она всегда стояла там, и её всегда держали.

Дагна медленно подняла голову.

— Я держала, — сказала она.

— Вы не виноваты, — сказал хранитель печати. — Никто не виноват. Но Государь хочет знать, что это было.

— И что же Государь хочет от нас? — спросила Велга.

Хранитель печати сложил бумагу вдвое.

— Государь хочет, чтобы Главная выехала на место, — сказал он. — Вода должна показать, что там осталось. Слово Главной для Государя дороже донесения начальника кордона.

Аста перевела взгляд с Велги на меня. Дагна смотрела на меня.

— Ей нельзя туда, — сказала она.

— Почему? — спросила Велга.

— Потому что она десятый день держит узел и не знает, с какой стороны у чаши верх. — Дагна кивнула на меня. — Она не умеет закрываться. Она даже воду читать не умеет. Отправьте меня. Или Ирму.

— Вас Государь не звал, — сказал хранитель печати. — Он звал Главную.

Велга долго молчала.

— Когда ехать? — спросила она.

— К утру надо быть на месте, — сказал хранитель. — Дорога туда двое суток, если не отдыхать. Но Государь велел поторопиться, поэтому поедут на перекладных, с гонцом. — Он посмотрел на меня. — Полторы сутки.

Я стояла у стены и слушала, как девять женщин смотрят на меня, и как Дагна думает: «уронит», и как Аста думает: «господи, спаси её», и как Ирма не думает ничего, а просто смотрит.

— Я поеду, — сказала я.

Велга обернулась.

— Ты не обязана говорить это сейчас.

— Я поеду, — повторила я. — Если вода покажет, что там, я скажу. Я умею смотреть и говорить то, что вижу.

Дагна хмыкнула, но ничего не сказала.

Хранитель печати кивнул и отступил к двери.

— Карета будет у ворот через час, — сказал он. — Возьмите тёплое. Там ветер.

Он ушёл, и дверь за ним закрылась.

Велга подошла ко мне.

— Слушай меня, — сказала она тихо, так, чтобы не слышали остальные. — Ты едешь не за водой. Ты едешь за тем, что скажешь Государю. И запомни: что бы ты там ни увидела, во дворце об этом должны узнать только от тебя.

— А если я не пойму, что я увидела?

— Поймёшь, — сказала Велга. — Ты уже видела это ночью. Просто не знаешь, что это было.

Домой я успела на полчаса.

Мать уже знала. У неё всегда было так: она узнавала новости прежде, чем их успевали принести, потому что у неё была соседка, а у соседки — язык.

Она стояла у печи с ухватом в руках и не двигалась, когда я вошла.

— Мне сказали, деревня сгорела, — проговорила она. — И что тебя посылают.

— Да.

— Одну?

— С гонцом и охраной.

Ухват дрогнул в её руках, и она поставила его к стене, аккуратно, будто боялась, что он упадёт.

— Вот и всё, — сказала она. — Вот и всё. Я так и знала. Я знала, что этим кончится.

— Мама, я вернусь через три дня.

— Через три дня, — повторила она и вдруг посмотрела на меня так, что я замолчала. — Фина. Ты понимаешь, куда ты едешь?

— Понимаю.

— Нет. — Она подошла и взяла меня за руки. Пальцы у неё были горячие. — Ты едешь туда, где ночью что-то стряслось. Ты едешь туда, куда ушла деревня. Ты понимаешь, что когда что-то так уходит, оно не уходит само?

Я молчала.

— Мать моя рассказывала, — сказала она тихо, — что так бывало. Не в её время, раньше. Говорили, будто есть место, куда всё уходит: люди, дома, скот. И потом ничего нет. Ровная земля. Она говорила: если увидишь ровную землю, не подходи. И не думай о ней. Потому что оно думает в ответ.

Я поёжилась, хотя в комнате было тепло.

— Нас учили, что так не бывает, — сказала я.

— Кто учил? Старуха твоя? — Мать усмехнулась. — Фина, они держат границу и знать не знают, что за ней. Они держат, чтобы оттуда не приходило. А что там живёт, они сами боятся спросить.

Она отпустила меня и отошла к полке, где стояли банки с крупой.

— Сядь, — сказала она. — Я тебе соберу.

Она собрала мне хлеб, варёные яйца, кусок сала, чистое полотенце и маленький узелок с солью.

— Соль зачем? — спросила я.

— Соляной круг, если придётся, — сказала мать. — Наберись соли в горсть и обведи вокруг себя. Только соль должна быть целая, нетронутая.

— Тебе сколько лет было, когда ты это узнала?

— Девять, — сказала мать. — Мне всегда говорили только то, что помогало выжить. И тебе говорю то же.

Она завязала узелок и сунула его мне в карман.

У двери она меня обняла. Обнимала она меня редко, и от этого стало хуже.

— Если тебе понадобится помощь, — сказала она, — смотри человеку в глаза и говори прямо: «Мне нужна помощь». Меня так учили. Кто услышит, тот и поможет.

— Я тебя люблю, — сказала я.

— Иди, — сказала она. — И не оборачивайся на крыльцо.

Я не обернулась.

У ворот стояла карета, старая, но крепкая, с гербом на дверце, а рядом — гонец в кожаном колете и двое гвардейцев.

Один из них был Каэль.

Он стоял, держа поводья лошади, и когда я вышла, посмотрел на меня и кивнул, коротко, как кивают незнакомые люди.

— Главная, — сказал гонец и открыл дверцу. — С ветерком поедем.

Я залезла в карету. Внутри пахло пылью и старой кожей, сиденье было продавлено в двух местах, а на полу лежал коврик, протёртый до основы.

Каэль сел в седло рядом с дверцей. Второй гвардеец — на козлы. Гонец хлопнул по карете, лошади тронули, и дворец поплыл назад, за окно, мимо кованых решёток и мокрых стен.

Я отодвинула занавеску.

— Каэль.

Он обернулся.

— Я не знала, что это будете вы.

— Меня поставили, — сказал он.

— Ставят двоих у лестницы и одного за дверью, — сказала я.

Он усмехнулся.

— На этот раз я сам вызвался.

— Почему?

Он помолчал, глядя вперёд, на лошадей.

— Потому что туда, где пропадают деревни, не нужно посылать человека, который не знает, как они пропадают, — сказал он. — А я знаю. Один раз видел.

Занавеска дрогнула и легла обратно.

— И ещё, — сказал он. — Вы сказали мне в ту ночь, что не знаете, кто с вами говорил. Я всю неделю об этом думал.

Я промолчала.

— Я не буду спрашивать, — сказал он. — Но там, куда мы едем, я буду рядом. И если вы захотите сказать, я услышу.

Он отъехал вперёд, к гонцу, и я осталась одна в карете с занавеской в руке, с узелком соли в кармане и с мыслью, что мать учила меня держаться от таких подальше.

Полторы сутки я провела между сном и дорогой.

Мы меняли лошадей три раза, на станциях ели хлеб с луком, а один раз — горячую похлёбку, и гонец торопил ямщиков так, что на второй станции один из них сказал ему в лицо, что за такие деньги он не погнал бы и осла.

Дорога шла на восток, и чем дальше, тем меньше становилось домов. Сначала пошли поля, потом пустоши с редкой травой, потом начались рвы.

Я видела их через окно: длинные, в рост человека, вырытые вдоль дороги, с земляным валом за ними. В них ничего не было. Ров как ров.

— Это западный конец, — сказал Каэль, когда я спросила. — Здесь держит Аста.

— А где начинается Дагнин?

— Дальше. — Он показал вперёд. — За рекой. Там ров другой, и за ним уже пустошь, а не поля. И деревни стоят прямо за рвом, потому что если не стоять прямо за рвом, то урожая не будет.

— Почему?

— Потому что земля за рвом лучше, — сказал он. — Она там жирная, родит без навоза. — Он помолчал. — Пока держат.

Кордон стоял на холме, и я увидела его издалека: две деревянные башни, частокол, ворота, а перед всем этим — ров.

Он был не такой, как западные. Западные тянулись вдоль дороги, серые, поросшие травой по краям. Этот шёл поперёк, широкий, в две сажени, и вода на дне стояла чёрная, без ряски. За ним был вал, а за валом — ничего.

Просто ничего. Ни домов, ни дыма, ни деревьев. Серая равнина до самого края неба, ровная, как стол, и ветер гнал по ней пыль.

Карета остановилась у ворот. Начальник кордона вышел нам навстречу — немолодой, с обветренным лицом и повязкой на левой руке.

— Главная? — спросил он, глядя на меня с сомнением.

— Главная, — сказала я.

— А я думал, будет старуха.

— Все так думают.

Он хмыкнул и повёл нас на стену.

— Вон там, — сказал он, показывая за ров. — Ольхи были там. Двадцать два двора, кузня, часовня. Я туда за грибами ходил, когда мальцом был.

— Что вы видели ночью?

— Огонь. — Он поёжился. — Я стоял на башне. Сначала было тихо, а потом как полыхнуло, и сразу по всей пустоши, от края до края. Не как дом горит, а как будто свечку зажгли, а она взяла и накрыла всё.

— А потом?

— А потом погасло. — Он посмотрел на меня. — Утром я взял шестерых и пошёл. Думал, хоть кого-нибудь вытащим, хоть сгоревших похороним. А там ничего.

— Совсем ничего?

— Ровно. — Он показал рукой. — Вот как стол. И трава не растёт, и следов нет, и даже запаха нет. Я стоял там, где раньше была улица, и не узнал, где она была. Понимаете? Я там родился, а не узнал.

Каэль стоял за моим плечом и молчал.

— Мне нужна вода, — сказала я.

Мне принесли ведро из колодца. Вода была холодная и пахла железом. Я достала из сумки малую чашу, которую мне дали в Круге, — плоскую, с толстым дном, — и поставила её на стену.

— Вы уверены, что хотите это делать здесь? — спросил начальник кордона.

— Нет, — сказала я. — Но я за этим приехала.

Я налила воду в чашу и положила ладонь сверху.

Ветер на стене был сильный, и вода в чаше дрожала, и я никак не могла понять, где дрожь от ветра, а где ответ.

— Ветер, — сказала я.

— Что? — спросил начальник.

— Мешает.

Каэль снял плащ и встал так, чтобы заслонить чашу. Ветер сразу стал тише.

— Спасибо, — сказала я.

— Не за что, — сказал он. — Дальше тихо.

Я положила ладонь над водой и стала думать о том, что передо мной.

Первый раз я подумала об Ольхах: двадцать два двора, кузня, часовня, мальчик за грибами. Вода пошла кругами, и я увидела, как по ней бегут светлые полоски, как рябь от травы.

— Есть, — сказала Велга у меня в голове. — Это память. Память всегда кружит.

Потом я подумала о том, как всё это горело: свечка, накрывшая пустошь. Вода потемнела.

— Это страх, — сказала Велга.

А потом я подумала о ровной земле.

Вода ушла.

Не испарилась, не вылилась — просто в чаше стало сухо, до самого дна, за одно мгновение, и на дне остался тёмный след, как от копоти.

У меня перехватило дыхание.

— Фина? — спросил Каэль.

— Тихо.

Я чувствовала, как в голове, с той стороны, где всегда было тихо, что-то повернулось, и я услышала знакомый спокойный голос, и он был теперь совсем близко, как будто человек стоял за моей спиной и говорил над ухом.

— Вот и ты, — сказал он. — Я знал, что ты приедешь.

Я не ответила.

— Хочешь узнать, где они? — спросил он.

Сердце у меня билось так, что я слышала его в горле.

— Где?

— У меня, — сказал голос. — Все двадцать два двора. И кузня, и часовня, и дети. Они целы, не бойся. Я ничего не жгу. Мне незачем жечь.

— Что ты с ними сделал?

— Взял, — сказал он. — Я всегда беру. Скажи своим, что я взял. Пусть перестанут делать вид, что за рвом пусто.

Я стояла на стене и смотрела в сухую чашу, и ветер снова ударил мне в лицо.

— И ещё, — сказал голос. — Если захочешь их вернуть, приходи сама. Без старух, без нитей, без соли. Я жду.

— Зачем тебе я?

— Потому что ты умеешь слушать, — сказал он. — А я очень давно говорю в пустоту.

И замолчал.

Я подняла голову. Начальник кордона смотрел на меня, приоткрыв рот. Каэль смотрел на чашу.

— Что там? — спросил он тихо.

Я посмотрела на ровную землю за рвом. Ветер гнал по ней пыль, и в пыли ничего не было видно.

— Они не сгорели, — сказала я. — Их забрали.

Начальник кордона перекрестился.

А за рвом, на самом краю ровной земли, там, где кончалась пыль и начиналось небо, я вдруг разглядела тонкую чёрную полоску. Она стояла неподвижно, хотя ветер гнул всё вокруг, и была похожа на человека, который смотрит в нашу сторону.

На кордоне мне дали комнату в башне — узкую, с одним окном и печкой, которая дымила.

Я сидела на койке, не снимая платья, и слушала, как внизу ужинают солдаты. Оттуда шёл запах варёной крупы и сала, стучали ложки, кто-то смеялся, кто-то ругался из-за места у огня.

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошёл Каэль. В руках у него были две миски и кусок хлеба.

— Я подумал, что вы не спуститесь, — сказал он.

— Не спущусь.

Он поставил миски на стол, придвинул табурет и сел напротив.

— Ешьте, — сказал он. — Я видел, как вы смотрели на ту чашу. После такого надо есть.

Я взяла ложку. Крупа была горячая, пересоленная, с луком.

— Вкусно, — сказала я.

— Неправда, — сказал он. — Но спасибо.

Он ел молча, и в комнате было слышно только, как трещит печка и как за стеной гудит ветер. Я смотрела на его руки — на мозоли, на тонкую белую полоску старого шрама у большого пальца — и ловила себя на том, что мне хочется, чтобы он сидел здесь подольше.

— Фина, — сказал он, когда миски опустели. — Что там было?

Я отставила ложку.

— Вы обещали не спрашивать.

— Я обещал не спрашивать про ту ночь. — Он поднял на меня глаза. — А сейчас другое. Сегодня вы стояли на стене, и у вас было такое лицо, будто вы разговариваете.

Я молчала.

— Я не начальник вам и не Круг, — сказал он. — Я никто. Но я видел, что бывает, когда человек держит такое в себе. Я так держал три года.

Он помолчал.

— Можно я спрошу иначе? — сказал он. — Вам сейчас страшно или стыдно?

Вопрос был такой неожиданный, что я ответила честно:

— Страшно.

— Значит, не врёте, — сказал он. — Когда стыдно — врут. А когда страшно — молчат. Вы молчали весь вечер.

Я посмотрела на огонь в печке.

— Там, за рвом, кто-то есть, — сказала я. — Я его слышу. Не так, как слышат люди. Я его слышу тут. — Я коснулась виска. — И он меня тоже слышит. Он говорил со мной, когда я читала воду.

Каэль не отшатнулся, не перекрестился и не сказал «не может быть». Он просто сидел и смотрел на меня.

— Один раз я уже это слышал, — сказал он наконец. — На кордоне, когда сгорела деревня. Только там это было не слово, а как будто кто-то стоит за спиной.

— И что вы тогда сделали?

— Ничего. — Он усмехнулся. — Я сказал сержанту, что мне послышалось. А потом три года говорил себе, что мне послышалось.

Огонь в печке щёлкнул, и от него по комнате пошёл запах смолы.

— Он сказал, что не жжёт, — проговорила я. — Что он берёт. И что если я приду сама, он вернёт деревню.

Каэль медленно выпрямился.

— Вы не пойдёте.

— Я сказала, что не знаю.

— Фина. — Он наклонился вперёд, и в голосе у него появилось что-то, чего я раньше не слышала. — Я стоял на том кордоне, когда горело. Я видел, как из огня вышли двое и встали на краю — вот как вы видели сегодня полоску. Они не подходили и не уходили. Они стояли и ждали. А потом, когда всё погасло, один из них обернулся и посмотрел на меня.

— Что было потом?

— Потом я очнулся на стене. — Он помолчал. — Сержант сказал, что я стоял как вкопанный и не отвечал, когда меня звали. Я не помню, сколько так простоял. Я не помню, как спустился. Я вообще не помню ту ночь до конца.

Он поднял руку и потёр висок, там, где была ссадина.

— И с тех пор, — сказал он, — я иногда просыпаюсь от того, что кто-то сказал моё имя. Рядом никого нет. Я проверял.

В комнате стало тихо.

— Почему вы мне это рассказываете? — спросила я.

— Потому что вы не посмеётесь, — сказал он. — И потому что вы, кажется, единственный человек на свете, который может сказать мне, что это было.

Я открыла рот, чтобы ответить, и в этот момент в голове у меня, с той стороны, где всегда было тихо, кто-то очень спокойно, очень отчётливо сказал:

— Спокойной ночи, Каэль.

Каэль вздрогнул.

Он вскочил, так резко, что табурет качнулся, обернулся к двери, к окну, снова к двери — рука у него сама легла на пояс, где висел нож.

— Кто здесь? — сказал он.

В комнате никого не было. За стеной гудел ветер, внизу стучали ложки.

— Вы слышали, — сказала я.

Каэль медленно повернулся ко мне. Лицо у него было белое.

— Меня позвали, — сказал он. — По имени.

Я смотрела на него и понимала, что теперь нас двое, а двое — это уже не тайна одного человека, и что рассказать об этом Велге нельзя, и что молчать тоже нельзя, и что я не знаю, что делать.

— Это был не мой голос, — сказал Каэль. — Это был мужской.

— Я знаю, — сказала я.

Он долго молчал.

— Тогда, — сказал он наконец, — наверное, вам стоит рассказать мне всё.

И сел обратно на табурет.

Я рассказала ему про голос.

Не всё. Я рассказала, как он появился в первую ночь, когда я держала узел, — спокойный, усталый, будто человек долго шёл и наконец дошёл. Как он сказал: «Вот ты где, я тебя искал». Как он говорил со мной на десятую ночь, когда тянули за Дагнину нить. Как он знал про мать, про двадцать две ступени, про соль в чашах. Как он сказал сегодня: «Я беру, а не жгу».

Про то, что я слышу людей, я не сказала.

Я сидела и говорила, и в какой-то момент поймала себя на том, что подбираю слова так, чтобы не соврать и не сказать лишнего, — и от этого мне стало противно. Я двадцать три года только этим и занималась, но одно дело — молчать перед чужими, а другое — обходить правду рядом с человеком, который сидит в твоей комнате и держит миску с остывшей крупой.

— Он сказал «приходи сама», — закончила я. — Без старух, без нитей, без соли.

Каэль долго молчал.

— Значит, он хочет не деревню, — сказал он наконец. — Он хочет вас.

— Похоже на то.

— И вы не знаете зачем.

— Он сказал: потому что я умею слушать.

Каэль посмотрел на меня, и я поняла, что он услышал в этой фразе больше, чем я хотела.

— Все умеют слушать, — сказал он. — Так не говорят про людей, которые просто хорошо слушают.

Я опустила глаза.

— Я не знаю, что ему нужно, — сказала я. — Я знаю только, что он меня слышит. И что он ждёт.

— И что вы ему ответите?

Вот и всё. Один вопрос, и в комнате стало так тихо, что я услышала, как в печке осыпается уголёк.

— Я не пойду, — сказала я. — Я не знаю, что там. Я даже не знаю, человек ли это.

— Хорошо, — сказал Каэль.

Он сказал это без нажима, спокойно, и от этого его «хорошо» прозвучало так, будто он уже что-то решил.

— Но Государю надо что-то сказать, — проговорила я. — Он ждёт, что вода покажет.

— Что показала вода?

— Она высохла. — Я посмотрела на свои руки. — Я подумала о той земле, и в чаше не осталось ни капли.

Каэль встал и подошёл к окну. За ним была темнота, и в темноте ничего не было видно.

— Я был на кордоне три года, — сказал он. — И знаете, что я понял? — Он обернулся. — Государь не хочет знать, что там. Он хочет знать, что там ничего страшного. Ему нужно слово Главной, чтобы успокоить тех, кто живёт за рвом.

— А если там страшное?

— Тогда он всё равно скажет, что ничего. — Каэль пожал плечами. — Только выберет другое слово. И пришлёт сюда людей с топорами, а не с водой.

Я сидела и смотрела на него.

— Вы предлагаете мне соврать.

— Я предлагаю вам не отдавать ему то, что он всё равно не станет слушать, — сказал Каэль. — Скажите, что видели след тёмной силы. Что деревня ушла не сама. Что граница держит. Этого довольно, чтобы он отправил сюда караул и не отправил сюда вас.

— А Велга?

— Велга умнее Государя, — сказал он. — Ей скажите больше.

Ветер ударил в окно, и стекло тонко задребезжало.

— Я не умею так, — сказала я. — Я всю жизнь писала то, что мне диктовали, и это было легко. А теперь надо решать, что правда, а что нет.

— А вы решите не за всех, — сказал Каэль. — Решите за себя. Что вы хотите, чтобы было правдой?

Я подумала.

— Я хочу, — сказала я медленно, — чтобы деревня вернулась. И чтобы мне для этого не пришлось идти к нему одной.

Каэль кивнул.

— Тогда так, — сказал он. — Утром вы говорите то, что решили. А я стою рядом и подтверждаю всё до последнего слова.

— Почему вы это делаете?

Он помолчал.

— Потому что три года я молчал, — сказал он. — И мне это надоело.

Утром, когда я вышла во двор, начальник кордона ждал меня у ворот, и с ним — двое солдат и гонец.

— Ну что, Главная? — спросил он. — Что вода показала?

Я посмотрела на ровную серую землю за рвом. Она была такой же, как вчера: ровная, как стол, и ветер гнал по ней пыль.

Чёрной полоски на краю не было.

— Тёмная сила, — сказала я. — Деревня ушла не сама. Её взяли из-за рва, и граница держит, но держит плохо.

Начальник кордона выдохнул, будто у него с плеч сняли мешок.

— Слава богу, — сказал он. — А то я уж думал, мы тут все с ума посходили.

Гонец записал.

Каэль стоял у меня за спиной и молчал, и когда я закончила, сказал только:

— Подтверждаю.

Мы выехали с кордона, когда солнце поднялось над валом, и ров остался позади, чёрный, без ряски, и ветер гнал по дороге пыль.

— Вы сказали им не всё, — проговорил Каэль, поравнявшись с каретой.

— Я сказала им правду, — ответила я. — Просто не всю.

Он усмехнулся.

— С этого начинается служба, — сказал он.

Я откинулась на продавленное сиденье и закрыла глаза, и в голове у меня, с той стороны, где всегда было тихо, кто-то очень тихо, очень довольно сказал:

— Хорошо, что ты умеешь молчать. Учись дальше.

Глава 4

Государя я увидела на третий день после возвращения.

Меня провели через галерею, где гобелены с охотой висели на прежних местах, и дальше, в зал с высокими окнами, где пахло воском и мокрой шерстью. У дверей стояли четверо гвардейцев, и я, проходя, услышала, как один из них думает, что смена будет долгой, а другой — что у него чешется спина под кольчугой.

Государь сидел не на троне. Он стоял у окна, спиной ко мне, и разглядывал что-то во дворе.

— Главная, — сказал хранитель печати. — Как велено.

— Пусть подойдёт.

Я подошла. Государь был невысок, сутуловат, в простом тёмном кафтане без украшений, и если бы я встретила его на площади, приняла бы за приказчика из богатой лавки. Он повернулся, и я увидела усталое лицо и красные глаза, как у человека, который плохо спит.

— Говорите, — сказал он. — Коротко.

Я сказала коротко.

— Деревня не сгорела. Её взяли.

— Кто взял?

— Не знаю. — Я смотрела ему в лицо. — Что-то за границей. Оно говорило со мной, когда я читала воду. Оно сказало, что не жжёт, а берёт. И что деревня цела.

Государь молчал. За его спиной в окне шёл по двору человек с ведром, и от этого простого зрелища мне стало труднее говорить.

— Кто ещё это слышал? — спросил он.

— Никто. Только я.

— Хорошо.

Он отошёл от окна и сел на скамью у стены, опершись локтем о колено.

— Теперь слушайте меня, — сказал он. — Вы поедете к Совету и скажете, что Ольхи сгорели. Дотла. Что граница держит, но держит плохо, и что Круг просит людей и денег на новый кордон.

— Это неправда.

— Это то, что нужно.

Я стояла и слышала, как за дверью двое придворных думают о том, скоро ли их позовут, и как хранитель печати думает: ох, девочка, ох, не сейчас.

— Ваше величество, — сказала я. — Я видела эту землю. Там ничего нет, ровно, как стол. Если мы скажем, что сгорело, туда приедут люди и начнут строить. И тогда…

— И тогда они построят, — сказал Государь. — И будут там жить, и пахать, и платить подать. — Он посмотрел на меня. — Вы думаете, я не знаю, что за рвом? Мой дед отдал Ольхи Кругу, чтобы там сеяли хлеб. Он знал, что земля за рвом не пустая. И он всё равно поставил там двадцать два двора, потому что короне нужен хлеб, а не сказки.

— Но их забрали.

— Я знаю, что их забрали, — сказал он, и голос у него не поднялся, но стал другим. — Я знаю больше, чем вы думаете. И я знаю, что если я скажу вслух, что за рвом кто-то живёт и этот кто-то забирает деревни, то к зиме у меня не будет ни соли, ни хлеба, ни наёмников, потому что купцы не повезут товар по дороге, с которой пропадают деревни. А соль, девочка, это армия.

Он сказал это очень устало, и я вдруг поняла, что он говорит со мной не как с Главной, а как с человеком, которому больше некому это сказать.

— Что же мне делать? — спросила я.

— Своё дело, — сказал Государь. — Держите границу. Ищите, что это. Верните мне землю под хлеб. — Он помолчал. — У вас месяц.

— Месяц?

— Через месяц я соберу Совет и спрошу с вас. — Он выпрямился. — И если окажется, что Круг не может ни вернуть деревню, ни удержать границу, я найду других людей. Их немного, но они есть.

У меня похолодели пальцы.

— Кто?

— Те, кто ищет по стране без воды, — сказал Государь. — Вы о них слышали. Все о них слышали.

Хранитель печати шевельнулся, будто хотел что-то сказать, и не сказал.

— Ваше величество, — проговорила я. — Они казнят ведьм.

— Они казнят то, что нечисто, — сказал Государь. — А ваше дело — быть чистым.

Он встал.

— Идите, — сказал он. — И запомните: то, что вы видели на кордоне и что вы слышали, останется здесь. Если это выйдет за эти двери, я буду думать, что вы не умеете молчать. А Главная, которая не умеет молчать, короне не нужна.

Я поклонилась, как учили, всем корпусом, и пошла к двери, и спиной чувствовала, как он смотрит.

В галерее меня догнал хранитель печати.

— Ну? — спросил он тихо.

— Он велел сказать, что сгорело.

— Да, — сказал хранитель печати. — Он всегда так делает.

Он пошёл рядом, и его мысли шли теперь ровно и знакомо, как шаги по лестнице: двенадцать лет я на этой должности, и двенадцать лет я вижу одно и то же, сверху хотят спокойствия, снизу хотят хлеба, а посередине стоим мы и придумываем, как соврать так, чтобы и тем и другим хватило.

— А про искателей он не шутил? — спросила я.

Хранитель печати помолчал.

— При королеве они были ближе, — сказал он. — Потом королева слегла, и их отодвинули. Но они никуда не делись.

— Кто они?

— Люди с бумагой от короны, — сказал он. — Они ходят по городам и ищут то, что нечисто. Им платят за найденное.

— За найденное или за найденных?

Он посмотрел на меня.

— Вы быстро учитесь, — сказал он. — Это хорошо и это плохо.

Днём в круглой комнате пахло сыростью и старым воском.

Свечи не зажигали, и в сером свете сверху было видно, что свод потемнел от копоти, а на полу у чаши лежит тёмное пятно, которое никто не вытирал.

Пришли семеро. Дагна сидела, держа левую руку на коленях, и рука у неё была замотана чистой тряпкой. Аста принесла с собой корзинку с хлебом и поставила её на камень у стены. Ирма стояла у чаши, как всегда, сложив руки. Остальные трое сидели поодаль и молчали.

Велга велела мне рассказывать.

Я рассказала всё: про Ольхи, про ровную землю, про сухую чашу и про голос, который сказал, что не жжёт, а берёт.

Дагна слушала, не перебивая. Когда я закончила, она сказала:

— Значит, ты знала это ещё на кордоне.

— Знала.

— И молчала два дня.

— Государь велел.

— Государь велел тебе, — сказала Дагна. — А нам кто велел?

Велга подняла руку, и Дагна замолчала, но не отвела глаз.

— Она сделала правильно, — сказала Велга. — Государь дал ей приказ, а приказы Государя не обсуждают в подвале.

— Не нам она это сказала, — проговорила Дагна. — Государю. В этом и дело. Ты слышала, что деревню взяли, и сказала ему, что сгорела.

— Я сказала ему, что её взяли, — ответила я. — И он велел объявить, что сгорела.

В комнате стало тихо.

— Ну конечно, — сказала Дагна. — Конечно, он велел. Ему нужен хлеб, а не деревня.

— Довольно, — сказала Велга. — Мы не Совет, мы Круг. У нас другой разговор.

Она подошла к чаше и посмотрела в воду, будто искала там что-то, чего не было.

— У нас месяц, — сказала она. — За месяц надо узнать, что это, и решить, что с этим делать. Пока мы думаем, восточный конец ослаб. Дагна не может держать рукой.

— Я могу, — сказала Дагна.

— Ты не чувствуешь пальцев.

— Я держу не пальцами.

— Ты держишь двадцать лет и один раз уже чуть не уронила, — сказала Велга. — Ослабленный конец — это не рука. Это узел. Если тянет с востока, а с востока тянет, значит, у нас там дыра.

Аста поставила корзинку на пол.

— Что ты предлагаешь? — спросила она.

— Я предлагаю поехать туда и держать на месте, — сказала Велга. — Не из подвала. Там, где рвётся.

— Кому ехать?

Велга обернулась ко мне.

— Ей.

Дагна встала.

— Нет.

— Она Главная.

— Она и месяца не держит чашу! — сказала Дагна. — Она не умеет ставить ноги на землю, она не знает пустоши, она не знает, как там дышится! Пошли меня, я там выросла.

— Ты не можешь держать.

— Я могу держать одной рукой, если вторая отсохнет!

— Ты умрёшь там, — сказала Велга спокойно. — И узел уронишь, потому что мёртвой рукой не держат.

Дагна села. Она сидела очень прямо, и я слышала, как она думает: старая дура, старая дура, я двадцать лет, я двадцать лет.

Ирма, которая до этого не сказала ни слова, проговорила:

— Ему нужна она.

Все обернулись.

— Он позвал не деревню, — сказала Ирма. — Он позвал её. Он сказал: приходи сама, без старух, без нитей, без соли. Если бы ему нужна была земля за рвом, он бы не ставил условий.

— И что из этого? — спросила Велга.

— А то, что если она поедет туда с Дагной и с солью, он может и не выйти, — сказала Ирма. — И мы не узнаем ничего.

Велга долго молчала.

— Значит, поедет одна, — сказала она наконец.

— Велга! — сказала Аста.

— Не одна, — сказала Велга. — С охраной, но без нас. Пусть он видит, что мы сделали, как он просил, и что девчонка пришла сама. А мы будем смотреть отсюда. — Она повернулась ко мне. — Ты сядешь на краю пустоши и будешь держать конец, а рядом будет кто-то с мечом и кто-то с солью. И если что-то пойдёт не так, ты уйдёшь. Ты поняла? Ты уйдёшь, даже если деревня будет стоять перед тобой и плакать.

Я кивнула.

— Скажи вслух.

— Я уйду.

Велга отошла и села на свой табурет.

— Через три дня, — сказала она. — За три дня я покажу тебе, как держать конец на земле. Это не то, что у чаши. Там всё иначе: земля под ногами тёплая, а по рукам идёт не вода, а ветер.

Дагна поднялась и пошла к ступеням, прижимая руку к груди. У двери она обернулась.

— Если ты её отпустишь, — сказала она Велге, — и она не вернётся, я тебе этого не прощу.

И вышла.

Аста подхватила корзинку и поспешила за ней. Остальные вышли следом, тихо, как выходят из комнаты, где кто-то болен.

Ирма осталась.

Она стояла у чаши и смотрела на воду, и я уже знала, что она скажет что-то, чего мне не хочется слышать.

— Ты не сказала им всего, — проговорила она.

— Я сказала всё.

— Ты сказала всё про голос. — Ирма подняла на меня глаза. — Я не про голос.

Я не двинулась.

— В ту ночь, когда ты первый раз села к чаше, — сказала Ирма, — ты услышала Дагну раньше, чем она заговорила. Ты повернулась к ней прежде, чем она открыла рот. Я стояла напротив и видела.

— Мне показалось.

— Мне тоже показалось. Один раз. — Она улыбнулась одними губами. — А потом я вспомнила, как ты вздрогнула в подвале, когда я подумала про тебя. И как ты на кордоне читала воду, а сама смотрела не в чашу, а в сторону, будто слушала кого-то за спиной.

Я молчала, и сердце у меня билось где-то в горле.

— Не бойся, — сказала Ирма. — Я не собираюсь тебя выдавать.

— Почему?

— Потому что мне это выгодно. — Она сказала это просто, без всякой угрозы, и от простоты стало хуже. — Я двенадцать лет в этом подвале, и я знаю: когда короне понадобится кого-то отдать, отдадут ту, которая ничего не умеет и ничего не стоит. А ты стоишь дорого. Значит, ты будешь мне полезна.

— Это всё?

— Нет. — Ирма подошла ближе и понизила голос. — Ещё потому, что я знаю, каково это: держать в себе такое, что если оно выйдет, то выйдешь вместе с ним.

Она повернулась и пошла к ступеням.

— Велга знает? — спросила я ей в спину.

Ирма остановилась.

— Велга знает больше, чем говорит, — сказала она. — Это её и держит на этом свете.

Дома пахло клеем и горячей кашей.

Отец сидел за верстаком, и в мастерской было темно, только над ним горела сальная свеча. Он поднял голову, когда я вошла, и я услышала, как он думает: пришла, слава богу, а я всё думал, где она ходит до темноты.

— Ты поздно, — сказал он.

— Дела.

— Какие у тебя теперь дела, — проговорил он и снова склонился над переплётом, и по тому, как он это сказал, я поняла, что он не спрашивает.

Мать была наверху. Я поднялась и села на край её кровати, и она отложила штопку.

— Говори, — сказала она.

Я сказала.

Она выслушала до конца и не заплакала, и не закрыла лицо руками, и не стала говорить «нет». Она сидела очень прямо и смотрела в стену, туда, где висела вышитая подушечка, которую она сама сделала в девках.

— Когда? — спросила она.

— Через три дня.

— Одна?

— С охраной. Велга говорит, что он позвал меня одну, значит, старейшины должны остаться здесь.

Мать кивнула.

— Это правильно, — сказала она. — Старухи его разозлят.

Я уставилась на неё.

— Ты знаешь, кто он?

— Я знаю, что рассказывают, — сказала мать. — Я тебе говорила, что мать моя об этом говорила, а ей говорила её мать. Это не сказка, Фина, это то, что передают, как передают рецепт от лихорадки.

Она сложила штопку и положила её на колени.

— Раньше границу держал не Круг, — сказала она. — Раньше её держал один человек. Его называли Сторож. Он жил за рвом, и к нему ходили, когда что-то случалось: когда скотина пропадала, когда ребёнок не просыпался, когда на пустоши начинали петь по ночам. Он держал, а люди сеяли, и все были довольны.

— А потом?

— А потом пришёл король, — сказала мать. — Не нынешний, а его прадед. Он решил, что земля за рвом должна кормить казну, а Сторож не должен брать свою долю. И он отдал границу ведьмам, а Сторожа прогнал. Или убил. По-разному говорят.

— И что стало со Сторожем?

Мать помолчала.

— Говорят, он не ушёл, — сказала она. — Говорят, он стоит там, на краю, и ждёт, когда с ним расплатятся. Наши бабы его так и звали: Тот, Кто Ждёт.

У меня по рукам пошёл холод, и я вспомнила тонкую чёрную полоску на краю ровной земли.

— Он забрал деревню, — сказала я. — Он сказал, что не жжёт, а берёт.

— Он всегда берёт, — сказала мать. — Он берёт то, что у него отняли. Двадцать два двора стоят на его земле, Фина. Он их забрал не потому, что злой. Он берёт своё.

— Но там были люди.

— Люди были на его земле. — Мать посмотрела на меня. — Я не говорю, что он прав. Я говорю, что он считает, будто прав.

Внизу стукнула дверца печи, и мы обе прислушались.

— Мама, — сказала я. — Что мне делать?

Она взяла мою руку и сжала её.

— Слушай меня, — сказала она. — Он будет говорить с тобой мягко. Он всегда говорит мягко, так рассказывают. Он будет говорить, что ему одиноко, что его обидели, что ему нужен только один человек, который его выслушает. Это всё правда, и от этого оно страшнее.

— Что мне ему сказать?

— Ничего не обещай, — сказала мать. — Ничего не бери. И не называй ему своего имени.

— Почему?

— Потому что имя — это не слово, — сказала она. — Имя — это то, чем тебя держат. Мать моя говорила: назови себя — и тебя позовут. Позовут — и ты пойдёшь. Не важно, куда и зачем. Пойдёшь, потому что тебя позвали по имени.

Я сидела и слушала, как внизу отец возится с чем-то у верстака.

В комнате было тепло, пахло сушёными травами, и на подоконнике лежал мамин напёрсток.

— Он уже знает моё имя, — сказала я.

Мать медленно повернула голову.

— Откуда?

— Он назвал меня в первую ночь. — Я смотрела на свои руки. — Он сказал: «Вот ты где, я тебя искал». А потом назвал по имени. Он знает, сколько у нас было ступеней. Он знает, что я слышу людей. Он позвал по имени Каэля.

Мать долго молчала.

— Тогда, — сказала она наконец, — не поезжай.

— Я должна.

— Тогда сделай так, чтобы он не мог тебя позвать целиком. — Она смотрела на меня, и лицо у неё было очень спокойное. — Имя у тебя одно, и оно у него уже есть. Но есть ещё то, чем тебя зову я. Отец зовёт тебя по-своему, я по-своему, и этого он может не знать.

— Мама, ты зовёшь меня Финой.

— Не всегда, — сказала она.

И я вспомнила.

Она звала меня так, когда я была маленькой и болела, и потом ещё несколько раз, редко, когда думала, что я не слышу. Это было не имя, а одно слово, которое она говорила шёпотом, будто боялась, что его услышат.

— Скажи его себе, — сказала мать. — Тихо. И держи при себе. Когда он позовёт тебя Финой, ты вспомнишь, что ты не только Фина, и, может быть, устоишь.

Я сказала. Тихо, одними губами, и мать кивнула.

— Теперь иди спать, — сказала она. — У тебя три дня.

У двери я обернулась.

— Мама. А ты его слышала?

Она не ответила сразу.

— Один раз, — сказала она. — В девках, на реке. Я стирала, и вдруг всё стихло: ни воды, ни птиц, ни людей. И кто-то за спиной сказал: «Здравствуй». И я, дура, ответила: «Здравствуйте».

— И что он?

— Ничего, — сказала мать. — Я обернулась, а там никого. Я взяла бельё и пошла домой, и всю дорогу у меня в голове было это «здравствуй». И оно сидело там три дня.

Она подняла штопку и снова взялась за иглу.

— Не отвечай ему, — сказала она. — Ни на «здравствуй», ни на что другое. Пусть говорит.

Три дня Велга учила меня держать на земле.

Мы уходили за город, на пустырь за скотобойней, где земля была вытоптана и никто не ходил. Велга брала с собой мешок соли и жестяную чашу, ставила её на землю и велела садиться.

— Здесь не вода, — сказала она в первый день. — Вода отвечает тебе. Земля отвечает тому, что под ней. Положи ладони и не жди ничего.

Я садилась на холодную землю, клала ладони и ничего не чувствовала.

— Ты держишь с усилия, — сказала Велга. — У воды это годится, вода податливая. А земля усилия не любит. Земля любит, когда ты просто есть.

На второй день я поняла, что она имеет в виду. Земля была не тёплая и не холодная. Она была плотная, и под волосками травы шло очень медленное движение: не рябь, не ток, а что-то вроде дыхания, которое повторялось и повторялось и не заканчивалось.

— Вот, — сказала Велга. — Держи.

— Что я держу?

— Не знаю. — Она стояла рядом, засунув руки в рукава. — Я держу свой конец и знаю, что я держу. А у тебя узел. Тебе надо понять, что он делает, а не как он называется.

К третьему дню у меня занемела спина, а ладони стали серыми, как у прачки.

И на третий день Велга заговорила.

Мы сидели на пустыре, за нами курилась скотобойня, а впереди был город. Велга смотрела на него и молчала долго, прежде чем сказать первое слово.

— Я знала про Сторожа, — сказала она.

Я не двинулась.

— Я знала про него тридцать лет, — сказала Велга. — В Круге это знание передают от Главной к Главной. Моя Главная была до меня, а до неё — другая. Все они это знали, и все они молчали.

— Почему?

— Потому что нам приказали молчать. — Велга говорила ровно, как говорила всегда. — Когда корона отняла у него землю, она не убила его. Она не смогла. Она отрезала его от людей — и поставила нас на его место. Нам велели держать так, чтобы он не подошёл к рвам. И велели не рассказывать, что он есть, потому что если люди узнают, что границу держит не Круг, а мы только не пускаем хозяина на его поле, то Кругу не на что будет жить.

У меня во рту стало сухо.

— Значит, мы не держим границу, — сказала я. — Мы держим его.

— Мы держим его, — согласилась Велга. — И держали тридцать лет. Пока держали.

— А прежняя Главная?

Велга долго молчала.

— Она была лучше меня, — сказала Велга. — Она пришла в Круг за десять лет до меня. Она была умная, она читала старые книги, и она говорила мне то же, что я теперь говорю тебе: так не может продолжаться. Мы не пускаем человека на его землю и называем это границей.

— И что она сделала?

— Она пошла с ним говорить.

Я обернулась.

— Она знала про него?

— Она знала. — Велга посмотрела на меня. — Перед самым пожаром она пошла на север, на Бренскую пустошь, одна, без соли, потому что он позвал её так же, как теперь зовёт тебя. Она вернулась и сказала: «Он хочет не землю».

— А что?

— Она не успела сказать, — проговорила Велга. — Через неделю сгорел кордон.

Мы сидели и молчали, и из скотобойни тянуло тёплым и солёным, и где-то за стеной мычала корова.

— Почему вы мне не сказали? — спросила я.

— Потому что тебя не пустили бы ни на пустырь, ни к чаше, — сказала Велга. — Потому что ты бы испугалась и ушла, а Круг без Главной не проживёт и года. И потому что мне было стыдно. — Она встала и отряхнула юбку. — Не туда понесло. Теперь учись держать, у нас два дня.

Выехали мы до рассвета.

У ворот стояла та же карета, что везла меня на кордон, и тот же гонец, и Каэль, и ещё четверо гвардейцев.

Велга пришла проводить. Она дала мне жестяную чашу, мешочек соли и полотняный лоскут, в который была завёрнута старая ложка.

— Ложка зачем? — спросила я.

— Затем, что если он тебе что-то предложит, а ты не знаешь, что делать, — сказала Велга, — ешь. Человек, который ест, не соглашается. Так учила моя Главная.

Она взяла меня за плечи и повернула к себе.

— Слушай внимательно, — сказала она. — Он торгуется не за деревню. Он торгуется за тебя. Что бы он ни предлагал, он предлагает одно: чтобы ты не ушла.

— Мать сказала то же, — проговорила я.

— Тогда у тебя две умные бабы, — сказала Велга. — Это больше, чем у большинства Главных.

Каэль подсадил меня в карету и прикрыл дверцу. Я отодвинула занавеску и увидела, как Велга стоит у ворот, маленькая, в тёплом платке, и смотрит нам вслед.

— Полторы сутки до поворота на восточный кордон, — сказал Каэль, подъезжая к дверце. — И ещё день по пустоши. К деревне подойдём к вечеру.

— К деревне?

— К тому месту, где она была, — сказал он и помолчал. — Я больше не знаю, как это называть.

Карета вышла из ворот, и я закрыла глаза и стала считать: раз, два, три. Позади оставался город, впереди была пустошь, и где-то за ней стоял человек, который знал моё имя и очень давно ждал.

Пустошь началась сразу за рекой.

Сначала ещё попадались кусты, потом пошли серые камни, потом и камни кончились. Земля стала плоской, как противень, и ветер здесь дул не порывами, а ровно, будто кто-то оставил открытой дверь в другой комнате.

К вечеру второго дня мы доехали до рва.

Он был не такой, как у Бренского кордона. Здесь ров шёл не поперёк дороги, а вдоль, и за ним не было вала. Просто ров, а за рвом ровная серая земля до края неба, и на ней ни травинки.

Гвардейцы спешились. Гонец остался в карете и смотрел в другую сторону.

— Дальше нельзя, — сказал начальник охраны, немолодой, с седыми усами. — За ров не пустим.

— Мне надо туда.

— Нам велено вас беречь, — сказал он. — За ров мы не пойдём и вас не пустим.

Каэль подошёл и встал рядом.

— Я пойду с ней, — сказал он.

— Тебе-то что, — сказал начальник охраны.

— Мне велено быть при ней.

Они смотрели друг на друга, и я слышала, как начальник охраны думает: мальчишка, а туда же, и как бы мне за него перед начальством не отвечать, и как бы нам тут всем не остаться.

— Хорошо, — сказал он наконец. — До камня. Дальше ни шагу, оба.

Камень стоял у самого рва: серый, вросший в землю, с обломанным верхом.

Я перешагнула ров — он был мне по колено, сухой, с песчаным дном — и пошла по ровной земле.

Идти по ней было странно. Ноги ступали по твёрдому, но под твёрдым не было ничего: ни корней, ни ям, ни кротовых ходов. Земля была гладкая, как столешница, и от неё не пахло.

Шагов через сто я остановилась.

— Здесь, — сказала я.

Каэль остался у камня. Он стоял и держал руку на поясе, и я слышала, как он дышит.

Я поставила жестяную чашу на землю, налила в неё воду из фляги и села рядом, поджав ноги. Потом достала ложку, горшочек с кашей и хлеб и разложила всё на коленях.

И стала ждать.

Солнце садилось. По ровной земле пошли длинные тени от камня и от меня, и тени эти были единственным, что здесь имело форму.

Он пришёл, когда стало совсем серо.

Я не видела, откуда он пришёл. Просто в десяти шагах стоял человек, и мгновение назад его там не было.

Он был высокий, в длинной рубахе до колен, подпоясанной верёвкой, босой, и одежда на нём была старой, но целой. Волосы седые, длинные, заправленные за уши. Лицо обыкновенное, как у человека, который много лет провёл на воздухе, — обветренное, спокойное.

Он не улыбался и не хмурился. Он смотрел на меня, как смотрят на человека, которого ждали очень долго и уже устали ждать.

— Здравствуй, — сказал он.

И в голове у меня стало тихо.

Не так, как с Каэлем, — там тишина была мягкой, будто вынесли лишнее. Здесь стало пусто, будто вынесли всё, вместе со мной.

Я молчала.

Он ждал. Потом кивнул, будто моё молчание его не удивило.

— Меня зовут не так, как ты думаешь, — сказал он. — Но ты можешь звать меня Сторожем. Так меня звали, когда у меня ещё было имя.

Я взяла ложку и зачерпнула кашу.

Он посмотрел на ложку.

— Умно, — сказал он. — Кто тебя научил?

Я жевала и молчала.

— Старуха, — сказал он. — Или мать. — Он помолчал. — Мать, наверное. Она у тебя умная. Она мне когда-то ответила.

Ложка остановилась у меня на полпути ко рту.

— Не бойся, — сказал он. — Я её не тронул. Она сказала «здравствуйте» и ушла, и это было вежливо. Я таких помню.

Я положила ложку и посмотрела на него.

— Ты забрал деревню, — сказала я.

— Забрал.

— Зачем?

— Потому что она стояла на моей земле. — Он сказал это без злости, будто объяснял, почему снял урожай. — Сколько я себя помню, моя земля кормила этих людей. Они сеяли, они жали, они ставили дворы, и им было хорошо. А потом пришёл человек с бумагой и сказал, что земля теперь казённая, а я — никто.

— И ты их забрал.

— Я их взял, — сказал он. — Они целы. Они у меня. Двадцать два двора, и кузня, и часовня, и дети, и скот. Я ничего не жгу.

— Верни их.

— Верну, — сказал он.

Я молчала.

— Верну, — повторил он. — Завтра же утром они выйдут на дорогу и пойдут домой, и никто из них не вспомнит, где был. Мне это нетрудно. Мне это ничего не стоит.

— Что тебе нужно взамен?

Он посмотрел на меня и впервые улыбнулся, и от этой улыбки мне стало холодно.

— Ты уже знаешь, — сказал он.

— Скажи.

— Останься, — сказал Сторож. — Не навсегда. На год. Ты сядешь здесь, на моей земле, и будешь держать то, что я тебе дам, и за год я верну всё, что у меня забрали. Через год ты уйдёшь, куда захочешь, и я тебя не трону.

— Я не могу остаться. Я Главная.

— Главная, — сказал он. — Ты двух недель не держишь чашу. Ты держишь девять нитей, которые тебе не принадлежат, и за это тебя однажды отдадут тем, кто ищет по стране без воды. Я знаю про них. Они ходили здесь, когда твоего Государя ещё не было на свете.

Я взяла ложку и снова зачерпнула кашу. Рука дрожала, и каша не держалась на ложке.

— Ты ешь, — сказал он. — Ешь. Я подожду. Я умею ждать.

Он стоял и смотрел, как я ем, и я ела, потому что не знала, что ещё делать, и потому что Велга сказала: человек, который ест, не соглашается.

— Хорошо, — сказал он, когда я доела. — Тогда я дам тебе время. Не год. Три дня. Подумай, чего ты хочешь больше: двадцати двух дворов или своего места в подвале.

Он повернулся, чтобы уйти, и остановился.

— И ещё, — сказал он. — Ты держишь при себе одно слово. Мать дала его тебе, чтобы я тебя не позвал.

У меня перехватило дыхание.

— Не держи, — сказал он. — Оно тебе не поможет.

И назвал его.

Назвал тихо, ровно, тем самым шёпотом, каким мать говорила его в темноте, когда думала, что я сплю.

Я сидела на ровной земле, и в голове у меня было пусто, и каша во рту стала как песок.

Обратно я шла долго, хотя идти было шагов сто.

Ноги ступали по твёрдому, и я всё время ждала, что земля подо мной окажется не землёй, а крышкой, и что если я наступлю не туда, то провалюсь. Ветер дул в спину, ровно и сильно, и от него в ушах стоял шум.

Каэль ждал у камня. Когда я подошла, он выдохнул и опустил руку с пояса.

— Живы, — сказал он.

— Жива.

Он взял меня за локоть и повёл через ров, и только когда мы отошли шагов на десять, я поняла, что у меня дрожат руки.

— Кто там был? — спросил он.

— Человек.

— Какой человек?

— Высокий. Босой. — Я посмотрела на свои руки. — Он говорит спокойно. Он сказал, что его зовут Сторожем.

Каэль остановился.

— Вы видели его глаза?

— Видела.

— И что в них было?

Я подумала.

— Ничего, — сказала я. — Как в воде, когда она стоит.

Он молчал всю дорогу до лагеря, и лицо у него было такое, будто он вспоминает что-то, что не хочет вспоминать.

В лагере гвардейцы развели костёр, и начальник охраны подошёл ко мне, и я сказала ему, что ничего не случилось, что за рвом пусто, а голос был, но говорить с ним больше не о чем. Он выслушал, кивнул и пошёл распоряжаться насчёт ужина, и я слышала, как он думает: а ведь врала, ведь врала, но мне-то что, мне бы до утра достоять.

Каэль сидел рядом у костра и молчал.

— Спросите, — сказала я.

— Что он предложил?

— Год. — Я смотрела на огонь. — Я остаюсь у него на год, держу то, что он даст, а он через год отпускает меня и возвращает деревню.

Каэль помолчал.

— А люди? — спросил он. — Он что-нибудь про них сказал?

— Сказал, что они целы. Двадцать два двора, кузня, часовня, дети, скот. Сказал, что не жжёт.

— И вы ему поверили?

— Да, — сказала я. — И это самое страшное.

Он подбросил в костёр щепку.

— Не соглашайтесь, — сказал он.

— Я знаю.

— Я не про то, что говорят старейшины, — сказал Каэль. — Я вам другое скажу. — Он повернулся ко мне. — Три года назад на Бренской пустоши была деревня. Не Ольхи, другая, дальше к северу. И один человек пошёл туда, потому что ему сказали, что его дочь жива и ждёт.

— Что с ним стало?

— Он вернулся. — Каэль смотрел в огонь. — Вернулся через год. Живой, здоровый, и с ним была дочь.

— И что?

— И он не помнил своего дома, — сказал Каэль. — Он помнил год, который прожил там, как живут во сне. Он помнил каждый день. А как звали его жену, он забыл. — Он помолчал. — Я с ним разговаривал, Фина. У него была дочь, и он её любил, я это видел. И при этом он не мог сказать мне, что она любит есть.

От костра шло тепло, и с пустоши шёл ветер, и я подумала, что это, наверное, тот самый ветер, что дует у него за спиной всегда.

— Он сказал мне одно слово, — проговорила я.

Каэль поднял голову.

— Слово, которым меня зовёт мать. Я его никому не говорила. Я его знала-то наполовину: слышала от неё, но сама не произносила. А он его знает.

— И что это значит?

— Что мой год у него уже начался, — сказала я. — Просто я ещё не знаю, чем он кончится.

Мы сидели у костра до полуночи, и он не сказал мне ничего утешительного, и я ему тоже, и от этого стало легче, чем от утешений.

Утром прискакал гонец с кордона.

Я ещё спала в карете, когда начали кричать, и вылезла наружу, кутаясь в плащ. Начальник охраны стоял у рва с бумагой в руке и не читал её, а просто смотрел на ровную землю.

Я посмотрела туда же и не сразу поняла, что не так.

А потом поняла.

Серой земли не было. За рвом стояли дворы — двадцать два, с крышами, с плетнями, с дымом. Ходили люди. Кто-то тащил воду на коромысле, кто-то гнал вдоль плетня корову. И над всем этим стоял тот же ветер, только теперь он гнал не пыль, а дым.

— Пришли ночью, — сказал начальник охраны тусклым голосом. — Все до одного. Никто ничего не помнит. Кузнец говорит, что сегодня как раз собирался раздувать горн, и не понимает, чего мы на него глазеем.

Каэль стоял рядом и молчал.

Люди стояли на своей земле, у своих дворов, и были живы, и никто из них не помнил ни одного дня из тех, что прошли с того огня.

— Значит, надо Государю сообщить, — сказал гонец.

— Сообщим, — сказал начальник охраны и посмотрел на меня. — Главная, что писать?

Я смотрела на дым. Он поднимался ровно, и дворы стояли, как стояли всегда.

Он вернул всё, ничего не получив, и этим вернул меня туда, откуда я начала: мне нечего ему предложить, а он теперь и вовсе ничего не просит.

Каэль подошёл и встал рядом, так близко, что я слышала его дыхание.

— Что писать? — повторил начальник охраны.

И в голове у меня, в той тишине, что стояла всегда с одной стороны, спокойно и ровно, как говорят о погоде, сказал голос:

— Не торопись. У тебя ещё есть время до третьей ночи.

Я взяла у начальника бумагу и перо.

— Пишите, — сказала я, — что граница держит.

Глава 5

Государь ждал меня в малом кабинете, где топили так, что нечем было дышать.

Я вошла и остановилась у двери. Он сидел за столом, разложив перед собой карту, и в кабинете, кроме него, был только хранитель печати, стоявший у окна с видом человека, который давно привык не мешать.

— Подойдите, — сказал Государь. — Ближе. Читать умеете?

— Умею.

— Тогда смотрите.

На карте была восточная граница: река, кривая линия рва и за ней пустое место, закрашенное бледной краской, без названий.

— Вот Ольхи. — Он ткнул пальцем. — Вот ров. Тут стоял кордон, который я велел укрепить. Его так и не укрепили. — Он поднял глаза. — Сколько у меня людей?

— Не знаю, ваше величество.

— Двадцать шесть тысяч. Из них десять тысяч на севере, потому что я до сих пор боюсь того, что было при моём отце. Ещё восемь в столице, потому что я боюсь того, что у меня в столице. Остальные разбросаны.

Он выпрямился и убрал руку с карты.

— Ваша бумага пришла вчера, — сказал он. — Граница держит. Деревня на месте. Кузнец раздувает горн, и никто ничего не помнит.

— Так и есть.

— Хорошо. — Он сказал это просто, без радости, как человек, у которого сняли с плеч один мешок из многих. — Я велел объявить по городу. И в Совете сказал. Вы сделали то, о чём я просил, и сделали быстро.

Я стояла и молчала.

— Вам не нравится, — сказал Государь.

— Мне не нравится, что мы не знаем, куда они пропадали.

— Мы знаем, — сказал он. — Вы мне сказали. Что-то за рвом взяло двадцать два двора и вернуло их, ничего не попросив. — Он помолчал. — Я об этом думал всю ночь. И знаете, что я решил?

— Что?

— Что это неважно.

Я посмотрела на него.

— Пока за рвом берут и отдают, — сказал Государь, — я могу сеять. Если это перестанет быть выгодно тому, кто там сидит, оно найдёт другой способ мне досадить. А пока — сеять.

— Ваше величество, почему вы решили, что оно отдало? Может, оно вернуло, чтобы мы вернули туда людей.

— Ну и хорошо, — сказал он. — Пусть будут люди.

Он взял со стола бумагу и протянул мне.

— Вот указ. Ольхи восстанавливаются. Двадцать два двора ставлю на прежние места, а к ним ещё восемь новых, за счёт казны. Люди уже набраны, из южных деревень. Пойдут через месяц.

Я держала бумагу в руках и слышала, как за окном кто-то колет дрова.

— Восемь новых дворов, — повторила я.

— Вам что-то не нравится?

— Они пойдут на ту же землю.

— Они пойдут на свою землю, — сказал Государь. — Казна за неё заплатит. — Он смотрел на меня внимательно. — Главная, я вас слушал уважительно, потому что вы делали, что я велел. Но сейчас вы говорите со мной про деревню, которую я вам вернул, и не хотите, чтобы я её засеял.

— Я не хочу, чтобы там опять пропали люди.

— Тогда найдите мне того, кто их забирает, — сказал Государь. — Вы просили месяц. Месяц идёт. У вас ещё восемнадцать дней.

Я открыла рот, чтобы сказать, что восемнадцать дней ничего не изменят, и не сказала. Он смотрел на меня спокойно и устало, как человек, который слышал все возражения заранее.

— Я пришлю к вам своего человека, — сказал он. — Он будет смотреть и записывать.

— Зачем?

— Затем, что через восемнадцать дней я должен знать, кто за рвом. Не для того, чтобы понять, а для того, чтобы решить, сколько людей там держать.

Дверь за моей спиной отворилась, и вошёл высокий человек в сером кафтане, без герба, без цепи, с гладким лицом и приглаженными волосами. Он не поклонился.

— Это Веспер, — сказал Государь. — Он будет при вас.

Я обернулась.

Человек смотрел на меня, и в голове у него не было ничего. Не пустота, как у спящего, не мягкое молчание, как у Каэля, а именно ничего: как будто я смотрела в стену, за которой нет комнаты.

— Добрый день, — сказал он. — Мне нужно многое узнать.

И только когда он сказал это, я поняла, откуда он. У него был выговор южных земель, мягкий, растянутый на концах слов, и на левом мизинце, под ногтем, синело пятно краски, как у людей, которые долго работают с бумагой.

Люди с бумагой от короны. Те, кто ищет по стране без воды.

— Ваше величество, — сказала я. — Это не нужно.

Государь сложил карту.

— Это нужно мне, — сказал он. — Идите, Главная. И покажите ему всё, что он попросит.

Наверху, в галерее, хранитель печати догнал меня у окна и взял за локоть.

— Не спорьте с ним при Веспере, — сказал он тихо. — Никогда.

— Кто он?

Хранитель печати посмотрел в сторону, будто проверял, не слышит ли кто.

— Двенадцать лет я на этой должности и двенадцать лет говорю всем, кто спрашивает, что они никуда не делись, — сказал он. — Вот он, один из них. Он не пытает. Он смотрит и записывает. У него нет ни звания, ни земли, но его боятся больше, чем любого герцога, потому что он приносит Государю бумагу, после которой люди исчезают.

— Он ищет ведьм?

— Он ищет то, что нечисто, — сказал хранитель печати. — И решает это он сам, ни у кого не спрашивая.

— Он хоть раз ошибался?

Хранитель печати помолчал.

— Один раз, — сказал он. — После такого он бывает особенно тщателен.

Я смотрела ему вслед, когда он уходил по галерее, и думала о том, что теперь у меня есть восемнадцать дней, человек с ногтем в краске, который не шумит в голове, и тот, кто знает моё тайное имя.

Хорошее утро.

В круглой комнате жгли соль.

Я не сразу поняла зачем. Свечи горели все девять, вода в чаше стояла чистая, и Велга сидела на своём месте, а рядом, на табурете у стены, сидел Веспер и держал на коленях папку.

— Садитесь, Главная, — сказала Велга. Голос у неё был ровный и официальный, каким она не говорила со мной ни разу.

Я села.

— Расскажите, что было на пустоши, — сказала Велга. — Подробно. Господин Веспер записывает.

Я рассказала. Про ров, про камень, про серую землю, про чашу и ложку.

Веспер писал быстро, не поднимая головы.

— Кто говорил с вами? — спросил он.

— Никто. Я читала воду, и вода высохла.

— Вы сказали Государю, что деревня не сгорела. Откуда вы это узнали?

— Из воды.

Он поднял глаза.

— Вода вам это сказала?

— Вода показала.

Он записал, и я слышала, как скрипит перо. В голове у него по-прежнему ничего не было: ни мысли, ни обрывка, ни шелеста. Я смотрела на его гладкое лицо и чувствовала себя так, будто стою перед запертой дверью, а за дверью кто-то ходит.

— Госпожа Велга, — сказал Веспер, — ваша Главная держит узел всего две недели. Как вы решились послать её на пустошь одну?

— Она Главная, — сказала Велга. — Главная ходит туда, куда её зовёт граница.

— И всё же. — Веспер положил перо. — В Круге девять женщин, каждая из которых держит свой конец. Почему поехала та, которая держит узел?

— Потому что звали её, — сказала Велга.

— Кто звал?

— Граница.

Веспер посмотрел на неё долго, потом снова взялся за перо.

— Хорошо, — сказал он. — Пока хорошо.

Он написал ещё несколько строк, закрыл папку и встал.

— Мне нужно осмотреть подвал, — сказал он. — И поговорить с остальными.

— Аста проводит вас, — сказала Велга.

Она хлопнула в ладоши, и в дверях появилась Аста, бледная, с плотно сжатыми губами.

Веспер вышел. Дверь закрылась.

Велга выждала, пока шаги стихнут на ступенях, и только тогда выдохнула и обмякла, будто из неё вынули палку.

— Вот, — сказала она. — Вот и всё.

— Он ничего не записал про голос.

— Он записал всё, — сказала Велга. — Только не то, что ты говорила, а то, как ты это говорила. Сколько раз ты отвечала не сразу. Куда смотрела, когда врала.

— Я не врала.

— Ты не врала, — согласилась Велга. — Ты молчала. Это то же самое, только дольше.

Она встала и подошла к чаше.

— Расскажи мне теперь то, чего не сказала ему.

Я рассказала: про Сторожа, про год, про то, что он знает моё имя, и про то, как он назвал то, другое.

Велга слушала и не перебивала.

Когда я закончила, она очень долго стояла молча, глядя в воду.

— Он вернул деревню, ничего не взяв, — сказала она наконец.

— Да.

— Ты понимаешь, что это значит?

— Что ему не нужна сделка.

— Это значит, что он взял уже, — сказала Велга. — Он не торговался, потому что не считает, что торгуется с тобой. Люди не торгуются с тем, что уже их.

Я сидела и смотрела на девять свечей.

— Он назвал тебе имя, — проговорила Велга. — То, которым тебя зовёт мать.

— Назвал.

— И ты его услышала и осталась стоять.

— Я сидела.

— Тем хуже. — Велга повернулась ко мне. — Фина, я тебе сейчас скажу то, что мне сказала моя Главная, а ей её. Когда он называет имя, человек должен почувствовать, что его тянут. Тебя не потянуло.

— Меня испугало.

— Испугало, — повторила она. — Это другое. Испугало — это когда ты ещё своя.

Она вернулась на табурет и села, сложив руки на коленях.

— Что теперь? — спросила я.

— Теперь мы будем делать вид, что всё хорошо, — сказала Велга. — Восемнадцать дней. Государь пришлёт людей на пустошь, Веспер будет ходить за тобой и записывать, а он будет ждать и смотреть, что ты сделаешь.

— А если я ничего не сделаю?

— Тогда через восемнадцать дней Государь спросит с меня. — Велга помолчала. — И найдёт других.

Мы сидели в тишине, и соль в чашах горела, и от неё першило в горле.

— Велга, — сказала я. — А что она хотела сказать?

— Кто?

— Прежняя Главная. Вы сказали, она вернулась и сказала: «Он хочет не землю». А что он хочет, она не успела.

Велга не ответила.

— Она не успела сказать вслух, — проговорила она наконец. — Но кое-что осталось.

Она встала, подошла к стене, где между камнями была выемка, и достала оттуда книгу.

Книга была маленькая, в потёртой кожаной обложке, с застёжкой, которую кто-то сломал.

— Это её, — сказала Велга. — Я не показывала её никому. И Государю не показала.

Она положила книгу мне на колени.

— Я в неё не заглядывала, — сказала она. — Не потому, что не хотела. Потому что не смогла.

— Почему?

— Потому что я знаю её почерк. — Велга смотрела в сторону. — И боюсь того, что она там написала в последние дни.

Я взяла книгу и открыла застёжку.

Почерк был мелкий, ровный, с наклоном вправо, и от него пахло пылью и сухими чернилами.

Первые страницы были скучными. Главная записывала то же, что записывала бы я: сколько раз жгли воду, кто из женщин держал конец, когда менялись свечи, что показала вода в такую-то ночь. Между записями попадались заметки о людях — «Дагна раздражительна, рука болит к дождю», «Аста боится темноты, ставить ближе к свечам» — и от этих строк у меня сжалось горло.

Потом пошли другие записи.

«Он не берёт. Он собирает».

«Спросила: зачем тебе дворы? Ответил: чтобы не забыть, как это — когда вокруг люди».

«Спросила: ты уйдешь, если тебе вернут землю? Ответил: земля не моя, земля вообще ничья. Моё у меня отняли другое».

Я перевернула страницу.

«Он говорит не как то, что живёт за границей. Он говорит как человек, у которого очень много времени и очень мало слов. Сегодня он в первый раз спросил про меня: спросил, страшно ли мне здесь сидеть. Я сказала, что нет. Он сказал: „Ты врёшь, но спасибо“».

Ещё страница. И ещё. Записи становились короче, и почерк в них был другой — крупнее, торопливее, будто она писала в темноте или стоя.

«Он не отпустит меня, пока не получит своего. Я поняла сегодня. Он не злой, Велга. Он голодный».

Я подняла глаза. Велга стояла у стены и смотрела в сторону.

— Что там? — спросила она, не поворачиваясь.

— Она пишет, что он голодный.

— Читай дальше.

Я перевернула ещё несколько страниц. И на предпоследней, в самом низу, где уже не оставалось места, нашла то, что искала.

«Я знаю, чего он хочет. Он хочет, чтобы его назвали.

У него было имя, и его отняли вместе с землёй. Не так, как отнимают у людей — имя стёрли отовсюду, и он сам его не помнит. Он говорит, что помнит только первый звук, и от этого звука у него болит.

Он держится за этот край потому, что здесь его ещё помнят. Пока помнят — он есть. Когда забудут последнего, он уйдёт или станет чем-то другим, и я не знаю, что хуже.

Он просит назвать его. Я не могу: я не знаю имени. Я знаю только, что оно начинается с «А».

И я боюсь, — писала она дальше, и буквы шли вкось, — что если я назову его неверно, то он возьмёт меня вместо имени».

Дальше страница была вырвана.

Я перелистнула. Оставался один лист, и на нём — четыре слова, написанные совсем плохо, будто рука не слушалась:

«Не верь тому, что я…»

И всё.

Я сидела и смотрела на эти четыре слова, и в комнате было тихо, и девять свечей горели ровно.

— Она не дописала, — сказала я.

— Я знаю, — сказала Велга.

— Сколько листов вырвано?

— Один. — Велга подошла и села напротив. — Один лист, Фина. Я нашла книгу в её комнате, когда мы разбирали вещи. Лист был вырван уже тогда.

— Кто его вырвал?

— Или она сама, или тот, кто был в её комнате после неё.

Я закрыла книгу и положила на неё ладони.

— Он хочет, чтобы его назвали, — сказала я. — Имя начинается с «А».

Велга молчала.

— Вы знаете имя? — спросила я.

— Нет.

— А кто-нибудь знает?

Велга посмотрела на меня, и я увидела в её лице то, чего не видела никогда: она боялась не Сторожа, не Государя и не Веспера. Она боялась того, что знание, которого она так долго избегала, теперь придётся достать.

— Имена не хранят в книгах, — сказала она. — Имена хранят в семьях. И если имя стёрли отовсюду, то стёрли и семьи.

— Кроме одной, — сказала я.

— Кроме одной, — согласилась Велга. — Той, в которой это рассказывают вместо сказки на ночь.

Я думала о матери, о её кухне, о бабушкиных словах, которые она передавала как рецепт от лихорадки. И о том, что она знала про Сторожа больше, чем Круг, и никогда не говорила, откуда.

— Я поеду к матери, — сказала я.

— Поезжай, — сказала Велга. — Только не одна. За тобой теперь ходит человек с пером.

До Кожевенного конца мы шли пешком, потому что Веспер не любил карет.

Он шёл слева, ровным шагом, держа папку под мышкой, и по дороге задавал вопросы: давно ли я живу в этом доме, сколько у отца заказов, часто ли к нам заходят люди, кто из

соседей бывает в мастерской. Я отвечала коротко и слышала, как за заборами думают о своём: у кого-то убежала свинья, кто-то ругался с женой, кто-то считал, что сегодня будет дождь.

В мастерской пахло клеем и кожей.

Отец поднял голову от верстака и, увидев Веспера, медленно положил тряпку.

— Это кто? — спросил он у меня, будто человека в сером кафтане за моей спиной не было.

— Человек от Государя.

— Понятно. — Отец вытер руки. — Чего ему надо?

— Посмотреть, как вы живёте, — сказал Веспер и, не спрашивая разрешения, подошёл к полке с книгами. — Вы переплётчик.

— Переплётчик.

— Сколько лет?

— Тридцать.

Веспер вынул одну книгу, открыл, посмотрел корешок.

— Хорошая работа, — сказал он. — Ровно.

Отец не ответил. Я видела, как он думает — быстро, обрывками: чего он хочет, чего он хочет, книгу не испорти, книгу не порть, а то ведь это заказ, это я три ночи на него положил.

— Мама наверху? — спросила я.

— Наверху.

Я поднялась.

Мать сидела на кровати, и перед ней лежало шитьё, которого она не шила. Когда я вошла, она посмотрела мимо меня — на лестницу.

— Он внизу, — сказала я тихо. — С отцом.

— Я знаю, — сказала мать. — Я слышала, как вы шли по улице.

Она отложила шитьё.

— Мама, — сказала я. — Мне нужно спросить.

— Не здесь. — Она встала очень спокойно. — Спустись и скажи, что я позвала тебя перебрать со мной зимнюю одежду в сундуке. И что это займёт время.

Я не поняла.

— Скажи так, — повторила мать. — И пусть он думает, что мы возимся с тряпками.

Я спустилась и сказала. Веспер поднял глаза от книги, и в его лице что-то шевельнулось, но он кивнул.

— Разумеется, — сказал он. — Я подожду.

Мы с матерью поднялись наверх. Она вытащила из-под кровати сундук, открыла его, и в комнате запахло нафталином и старой шерстью.

— Доставай и перекладывай, — сказала она, — и говори тихо. Он будет слушать у лестницы.

Я достала шубу, и мы начали её перекладывать, а я говорила, глядя в мех.

— Мама, у Сторожа отняли имя. Он хочет, чтобы его назвали.

Руки у матери остановились.

— Кто тебе это сказал?

— Та женщина, которая была Главной до меня. Она писала книгу. Он сказал ей, что помнит только первый звук, «А», и что от этого звука у него болит.

Мать долго молчала, и её пальцы машинально гладили мех.

— А, — сказала она наконец. — Ну да.

— Ты знаешь имя?

— Я не знаю имени, — сказала мать. — Я знаю песню.

Я подняла на неё глаза.

— Бабушка её пела? — спросила я.

— Бабушка, — сказала мать. — И её мать пела. Это не песня даже, это… — Она поискала слово. — Это как считалка, которой учат, чтобы не забыть дорогу. Поют, когда идут по незнакомому месту: чтобы место тебя знало и чтобы ты знал место.

— Спой.

Мать покачала головой.

— Её поют один раз, — сказала она. — И не дома.

— Почему?

— Потому что имя в ней одно, и если его пропеть в доме, оно останется в доме. — Она посмотрела на меня. — Фина, я тебе не всё говорила, и теперь жалею. Меня учили: не пой, не спрашивай, не ходи. Я так и жила. А теперь выходит, что я с девяти лет держала при себе то, что тебе нужно.

— Девять?

— Мне было девять, когда я в первый раз её услышала. — Мать сложила шубу. — Я тогда не поняла ни слова, кроме конца.

— Что в конце?

Она помолчала и сказала очень тихо, чуть слышно, и в этом шёпоте я разобрала только последние два слова:

— …и приди домой.

— Это всё?

— Это всё, что я помню. — Мать виновато развела руками. — Я была ребёнком, Фина. Я запомнила, что от неё холодно. И что после неё три дня хочется спать.

Внизу стукнул верстак — отец что-то уронил, — и мы обе замерли.

— Значит, придётся петь там, — сказала я.

— Придётся петь там, — согласилась мать. — И не там, где он тебя услышит первым.

Она взяла меня за руку.

— И ещё. Если ты её вспомнишь и споёшь, а он придёт, — сказала она, — не беги. Стой и пой до конца. Потому что половина песни — это половина имени, а половина имени хуже, чем ничего.

Мы спустились.

Веспер ждал в мастерской, и папка у него была открыта.

— Всё в порядке? — спросил он.

— Всё, — сказала мать. — Шуба подросла, пришлось выпускать мех.

Она улыбнулась ему, и я впервые услышала у неё такую мысль, спокойную и злую: хоть бы у тебя перо сломалось, милый человек.

— Я записал, — сказал Веспер, закрывая папку. — Вы пели.

Мать не изменилась в лице.

— Я не пела.

— Вы говорили нараспев, наверху. Я не разобрал слов, но записал, как мог. — Он показал мне страницу. — Вот. «И приди домой».

Я смотрела на его ровные буквы и чувствовала, как в горле становится сухо.

— Это колыбельная, — сказала мать. — Я пела её дочке, когда она была маленькой.

— Красивая, — сказал Веспер. — Спойте ещё раз.

— Она уже большая, — сказала мать. — Для больших не пою.

Веспер посмотрел на неё, потом на меня, и закрыл папку с таким видом, будто поставил на полке ещё одну книгу.

Каэль ждал меня у нашего дома, когда я вышла.

Он стоял, прислонившись плечом к стене, и в сумерках его кафтан казался совсем чёрным.

— Вас проводили домой, — сказал он. — Я видел.

— Проводили.

— Человек в сером. — Он выпрямился. — Я его раньше не видел во дворце.

— Его прислал Государь.

Каэль помолчал.

— Идёмте, — сказал он. — Провожу до перекрёстка. Дальше он вас всё равно догонит.

Мы пошли по улице, и за нами, шагах в десяти, шёл человек в сером кафтане. Я слышала, как он дышит и как под его сапогами скрипит песок, и ничего больше не слышала: в голове у него стояла стена.

— Что ему нужно? — спросил Каэль.

— Ему нужно знать, что я умею.

— А что вы умеете?

Я посмотрела на него, и он усмехнулся.

— Я не про то, — сказал он. — Я про границу. Что вы умеете с границей?

— Пока немного. Я учусь.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда скажите вот что. Зачем вы ходили домой?

Я рассказала коротко: про книгу, про имя, про песню.

Он слушал, не перебивая, и когда я закончила, долго молчал.

— Спеть надо там, где он вас услышит не первым, — сказал он. — Так?

— Так.

— И не дома.

— И не дома.

— Я знаю место, — сказал Каэль. — Старый мост за рекой, на западной дороге. Он весь обвалился посередине, остались только быки, и на них ещё можно стоять. Это ничей берег: ни город, ни пустошь, ни кордон. Там раньше платили пошлину, а теперь никто не ходит.

— Почему там?

— Потому что там нет ничего, что вас держит, — сказал он. — Дом держит. Пустошь держит. А мост — он ничей, он даже не стоит толком.

Я посмотрела на него.

— Вы очень спокойно об этом говорите.

— Я три года служил у границы, — сказал Каэль. — Я знаю, что имя — это не шутка, и знаю, что если его поют, то поют не на кухне.

Мы дошли до перекрёстка, и он остановился.

— Когда?

— Не знаю. Мне надо вспомнить песню, а я её не знаю. Мать помнит только конец.

— Тогда спросите мать ещё раз, — сказал он. — И спросите так, чтобы он не слышал.

— Он слышит всё.

— Не всё, — сказал Каэль. — Он слышит слова. — Он помолчал. — Я заметил сегодня. Он записывает то, что говорят, а не то, что думают. Люди при нём говорят медленнее, чем думают. Он на это и смотрит.

Я стояла и смотрела на него.

— Вы очень внимательный, — сказала я.

— Я гвардеец, — сказал он. — Меня за этим и держат.

Он отступил на шаг, будто собирался уйти, и не ушёл.

— Фина, — сказал он тихо. — Я хочу вам кое-что сказать, и это не по службе.

— Говорите.

— Я не помню ту ночь на кордоне, — сказал он. — И я вам тогда сказал, что просыпаюсь иногда от того, что меня зовут. Я вам не всё сказал. — Он посмотрел на меня. — Меня зовут по-разному. Иногда мужской голос. А иногда — женский, и он зовёт меня домой.

У меня похолодели руки.

— Что он говорит?

— Одно и то же. — Каэль смотрел в сторону. — «Иди домой, Каэль». Каждую ночь, когда зовёт. И я знаю, что это не сон, потому что после этого у меня на подушке песок.

Мимо прошёл человек с папкой и остановился в двух шагах, отвернувшись, будто рассматривал вывеску.

— Песок, — повторила я.

— Песок, — сказал Каэль. — Как на пустоши.

Он снова посмотрел на меня, и я увидела в его лице то, чего не видела раньше: он не боялся. Он злился.

— Я вам это говорю не для того, чтобы вы меня пожалели, — сказал он. — Я вам это говорю, потому что вы теперь Главная, и вам надо знать: он уже давно не только за рвом. Он и здесь.

Дома я не могла уснуть.

Я лежала под крышей и смотрела в потолок, и в ушах у меня звучало «иди домой, Каэль» и «и приди домой», и эти два конца не сходились.

К полуночи я встала, взяла свечу и спустилась.

Отец спал в мастерской на сундуке, как делал, когда много работы. Мать спала наверху. Я села за отцовский верстак и достала из-под тряпки книгу прежней Главной.

Там было всё, что я уже прочла. Я перелистала её до конца, потом ещё раз, и нашла то, чего не заметила днём: на внутренней стороне обложки, у самого корешка, карандашом были написаны две буквы, стёртые почти полностью.

«Ан».

Я смотрела на них, пока свеча не поплыла. Потом закрыла книгу и спрятала её обратно.

И только тогда, выходя из мастерской, я заметила на подоконнике папку.

Веспер забыл её, или оставил нарочно, или она лежала здесь всегда, и я просто не замечала. Я сказала себе, что не стану. Я даже отошла к двери.

Потом вернулась и открыла.

Он писал ровно, столбиком, без помарок, и на первой же странице был список: имена. Отец. Мать. Велга. Дагна. Аста. Ирма. Хранитель печати. Каэль. Против каждого имени стояла одна-две строки, и у Каэля было записано: «Северный кордон, переведён после пожара. Провал в памяти. Спит в караульне у нижних дверей. Проверить».

Внизу, на отдельном листе, была другая запись, сделанная сегодня: «Главная ходила к матери. Наверху говорили нараспев. Слов не разобрал. Мать утверждает, что пела дочери колыбельную. Дочь моложе матери на двадцать лет и говорит, что песни не помнит».

И ниже, тем же ровным почерком:

«Мать знает больше, чем говорит. Начать с неё».

Голоса разбудили меня под утро.

Я села на кровати и услышала внизу три голоса: один ровный, незнакомый, второй — материн, а третий — отца, который говорил громче, чем всегда.

В мастерской горел свет.

Я спустилась и вошла.

Веспер сидел за отцовским верстаком, и перед ним на столе лежала книга — маленькая, в потёртой кожаной обложке, с отломанной застёжкой.

Отец стоял у печи, прижав руки к груди, будто у него что-то болело. Мать сидела на скамье и смотрела прямо перед собой.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал Веспер. — Садитесь.

— Что вы делаете в моём доме?

— Работаю. — Он придвинул книгу ближе. — Ваш отец пустил меня, потому что я показал ему бумагу. Ваша мать сказала, что это её книга. А почерк не её.

Я не двинулась.

— Фина, — сказал он, и впервые назвал меня по имени без приставки. — Я двадцать два года служу короне и тринадцать из них ищу то, что нечисто. Я видел четыреста с лишним дел. И знаете, что я понял?

Я молчала.

— Что люди врут всегда, — сказал он. — Все. И это не беда. Беда начинается, когда человек не говорит ни правды, ни лжи, а думает, как бы ему не сказать лишнего. Вы так делаете с той минуты, как я вошёл во дворец.

Он открыл книгу на середине и повернул её ко мне.

— Здесь записи Главной, которая умерла. Я читал их всю ночь. И я нашёл вот это. — Он ткнул пальцем. — «Он хочет, чтобы его назвали». Вы это знали?

— Знала.

— Откуда?

— Из книги.

— А мать ваша знала ещё до книги, — сказал Веспер. — Она сейчас сказала мне, что не знает. Но я слышал, как она говорила с вами наверху. И у меня записано.

Я посмотрела на мать.

Она сидела очень прямо, и я читала в её голове одну и ту же строку, повторённую так быстро, что слова сливались: не я не я не я, всё на меня, только не она, не она.

— Она не знает, — сказала я. — Я спрашивала. Она пела мне колыбельную. Больше ничего.

— Вот как. — Веспер закрыл книгу и положил на неё ладонь. — Тогда объясните мне, Главная, почему вы ищете имя того, кто живёт за границей, и почему ваш гвардеец проводит ночи у нижних дверей не в карауле, а разговаривая с вами.

— Он мне не подчиняется.

— Он старается вам нравиться, — сказал Веспер. — Это хуже.

Я стояла и смотрела на него, и в голове у него была стена, и за стеной не было ничего, и от этого становилось страшно.

— Что вам нужно? — спросила я.

Веспер встал и застегнул папку.

— Пока мне нужно вот что, — сказал он. — Книга поедет со мной. Она принадлежит короне, раз её писал человек короны.

Мать подняла голову.

— Это её книга.

— Это теперь моя книга, — сказал Веспер и посмотрел на неё без всякого выражения. — И ещё. Я не стану ничего проверять. Не сегодня.

Он пошёл к двери, и в дверях остановился.

— Знаете, почему я до сих пор никого не тронул в этом доме? — спросил он. — Потому что вы мне сами всё расскажете. Я не люблю воду, иглы и дознавателей. Люди при них говорят много лишнего, и это лишнее потом мешает.

Он вышел и прикрыл за собой дверь.

Мать сидела неподвижно. Отец у печи опустил руки.

— Что это было? — спросил он. — Что это были за разговоры наверху? Что за песня?

Никто ему не ответил.

Мать встала, подошла ко мне и сказала очень тихо, так, чтобы слышала только я:

— Он взял книгу. Значит, теперь он будет искать того, кто её написал.

— Она мёртвая.

— Её почерк — нет, — сказала мать. — Почерк остался в бумагах, которые она писала в Совете. Он сравнит.

Она стояла и смотрела на дверь, за которой скрылся Веспер.

— Фина, — сказала она наконец. — У тебя не восемнадцать дней.

— А сколько?

— Пока он не найдёт того, кто умеет то же, что ты. — Мать повернулась ко мне. — А он найдёт. Это его работа.

Я стояла в мастерской, где пахло клеем и кожей, и слушала, как отец снова берётся за работу, потому что не знает, что ещё делать.

Глава 6

Велга не хотела меня пускать.

Я пришла к ней ночью, когда город спал и в круглой комнате горели только две свечи из девяти. Велга сидела у чаши, закутавшись в платок, и по лицу было видно, что она не спала.

— Он начал с матери, — сказала я с порога. — У него в папке так и написано: начать с неё.

— Я знаю, — сказала Велга. — Мне сказали.

— Кто?

— Аста. Она стояла у двери, когда он выходил. — Велга подняла голову. — Он был у неё, Фина. Он спрашивал, что она думает о тебе, и она говорила ему правду, потому что не умеет врать. Теперь он знает, что Аста считает тебя доброй.

— Это неправда.

— Это хуже, чем неправда, — сказала Велга. — Теперь у него есть женщина, которая его не боится, и он будет ходить к ней каждый день.

Я села на табурет напротив неё.

— Я хочу спеть сегодня.

Велга посмотрела на меня так, будто я сказала, что хочу выйти на площадь и объявить себя ведьмой.

— Нет.

— Я не знаю песни, но я знаю конец. Мать говорила, что её поют один раз и не дома.

— Ты не знаешь песни, — повторила Велга. — Ты знаешь два слова. Это не половина, Фина, это меньше, чем ничего. Мать тебе сказала: половина песни — половина имени, а половина имени хуже, чем ничего.

— Мать сказала ещё, что у меня не восемнадцать дней.

Велга долго молчала. Она смотрела в воду, и я видела в её голове то же, что она говорила вслух, только медленнее и злее на себя.

— Ты хочешь спеть здесь, — сказала она наконец. — В подвале. Где вода, соль и девять свечей.

— Здесь я хотя бы знаю, куда бежать.

— Здесь ты не знаешь ничего. — Велга встала. — Фина, если ты запоешь в подвале и он придёт, он придёт сюда. Поняла? Сюда. И не один.

— Он и так придёт.

Она отвернулась, и я поняла, что она согласна, и что согласие далось ей дороже, чем мне.

— На одну строчку, — сказала Велга. — Больше не споёшь. На одну.

Мы поставили чашу посреди комнаты. Велга зажгла все девять свечей и подсыпала в них соли; огонь стал белым и мелким, и от него в горле встал сухой ком.

— Садись, — сказала Велга. — Ладони на камень. Не на чашу. И не закрывай глаза: если закроешь, ты уже не здесь.

Я села на холодный пол, положила ладони на камень по обе стороны от чаши и почувствовала, как от камня по рукам пошло очень медленное, ровное движение, будто где-то глубоко переворачивался большой зверь.

— Теперь пой, — сказала Велга. — Только тихо.

Я не помнила ни начала, ни мотива. В голове было только два слова, и я подумала, что надо их просто сказать, а не петь, — и в тот момент, когда я так подумала, из горла сам собой вышел звук.

Я не знала, что так умею.

Голос был низкий, не мой, и он шёл не вверх, а будто в сторону, и в нём было два слова, и слова растягивались, и на втором слове я почувствовала, как вода в чаше дрогнула.

Велга сзади шумно вдохнула.

Песня кончилась раньше, чем я успела понять, что пою.

Девять свечей стояли ровно. Вода в чаше не поднялась. В комнате было тихо так, что я слышала, как в стене капает.

— Это всё, — сказала Велга. — Вставай.

— Подожди.

— Фина, вставай.

— Он не пришёл.

— Вставай.

И тогда вода в чаше дрогнула второй раз.

Она не забурлила и не поднялась. Она просто вздрогнула вся сразу, как вздрагивает человек, когда его окликнут, и по её поверхности от края к краю прошла тонкая волна.

Свечи погасли. Все девять.

В темноте я услышала, что Велга больше не говорит, и что она дышит очень часто, и что где-то в комнате есть ещё один вдох, кроме наших двух.

— Велга, — сказала я.

— Тихо.

Вдох был ровный и медленный, будто человек стоял у стены и ждал, пока за ним повернутся.

Я хотела подняться и не смогла: ладони приросли к камню, и от камня в них шло тепло, которого там не было ни мгновения назад.

И в голове у меня, в той тишине, что всегда стояла с одной стороны, спокойно и ровно, как говорят о погоде, сказали:

— Пой.

Я не двинулась.

— Пой до конца, — сказали в голове. — Ты уже начала.

Велга в темноте нащупала моё плечо и сжала так, что стало больно.

— Не отвечай, — сказала она шёпотом. — Ни на что не отвечай. Он не может взять, пока ты молчишь.

Я сидела на холодном полу, и ладони мои горели, и где-то в двух шагах от меня в темноте стоял он — я знала, что это он, потому что от него не пахло ничем и рядом с ним было холоднее. Потом я услышала, как он уходит: шаги удалялись не к двери, а вниз, будто пол под нами был дорогой. И когда их не стало, свечи вспыхнули сами, все девять сразу, и вода в чаше стояла гладкая, как стекло.

К утру в подвале пахло гарью.

Мы с Велгой вынесли чашу, вытерли камень, вылили воду и залили новую, и всё равно запах остался: он въелся в свод, в копоть над свечами, в саму кладку, и от него першило в горле.

— Он придёт, — сказала Велга. — Он придёт и спросит.

— Что мы скажем?

— Что гадали по воде. — Она вытерла руки о передник. — Это не ложь. Мы и правда гадали.

Он пришёл в восьмом часу.

Я услышала его шаги на лестнице раньше, чем увидела: он шёл ровно, не спеша, и на каждой третьей ступени останавливался, будто запоминал.

— Доброе утро, — сказал он с порога. — Здесь жгли.

— Жгли, — сказала Велга.

— Соль?

— Соль.

Веспер прошёл по комнате, не глядя под ноги, и остановился у чаши. Наклонился, понюхал воду.

— Много соли, — сказал он. — По уставу Круга соль жгут перед выходом на границу. Не в обычную ночь.

— Устав старый, — сказала Велга. — Мы его не всегда держим.

— Я заметил. — Веспер выпрямился. — Вчера ваша Главная ходила к матери. Ночью здесь горели девять свечей и соль, а на рассвете свечи погасли все сразу. Так не бывает от сквозняка: сквозняк гасит с одной стороны.

Он повернулся ко мне.

— Что вы делали?

— Гадали, — сказала я.

— О чём?

— О границе.

Веспер достал папку и раскрыл её на весу, не садясь.

— «Гадали о границе», — продиктовал он себе и записал. — Хорошо. Теперь скажите мне вот что, Главная. Кто пел?

В комнате стало очень тихо.

— Никто не пел, — сказала я.

— Я стоял на улице, у решётки, — сказал Веспер. — И слышал. Не слова, а голос. Он шёл снизу, из-под земли, и в нём было два слова. — Он посмотрел на меня. — Я не глухой и не глупый. Кто пел?

— Я, — сказала Велга.

— Вы? — Веспер обернулся к ней. — Госпожа Велга, ваш голос я слышал вчера в круглой комнате, когда вы говорили о границе. У вас голос высокий. А этот шёл низом.

— В подвале всё звучит иначе.

— Иначе, — согласился Веспер. — Но не настолько.

Он закрыл папку и положил её под мышку.

— Я не стану ничего доказывать, — сказал он. — Я хочу услышать песню.

— Нет, — сказала Велга.

— Я не приказываю, — сказал Веспер. — Я прошу. По-хорошему, госпожа Велга. Спойте мне ту песню, которую вы пели ночью, и я запишу её в дело как обряд, и на этом закончу.

— Её поют один раз, — сказала Велга. — Второй раз она не поётся.

— Тогда спойте любую другую, — сказал Веспер. — Любую. Я не разбираюсь в песнях.

Я поняла, что он делает, и от этого у меня похолодели пальцы: ему не нужна была песня. Ему нужно было посмотреть, как я откажусь, и что при этом скажу, и куда посмотрю, и сколько раз вздохну.

— Я спою, — сказала я.

Велга резко обернулась.

— Фина.

— Он прав, — сказала я. — Пусть запишет обряд и уйдёт.

Я села на табурет и спела колыбельную, которую пела мне мать: про серого кота, про тёплую печь, про то, что утро придёт и всё будет хорошо. Я пела её тихо и ровно и смотрела при этом на свои руки, потому что знала: если посмотрю на Веспера, он поймёт больше, чем из песни.

Он слушал до конца и не перебил.

— Красиво, — сказал он. — Только это не та песня.

— Это единственная, которую я умею.

— Вы умеете другую, — сказал Веспер. — И вы её спели ночью. — Он помолчал. — Знаете, что меня в вас настораживает, Главная? Вы не боитесь меня. Ни капли. Вы боитесь того, что будет, если я узнаю, но не меня.

Он пошёл к лестнице и на первой ступени остановился.

— Я остаюсь здесь, — сказал он. — Не в подвале. В доме Круга, наверху, в комнате для гостей. Государь разрешил.

— Здесь негде, — сказала Велга.

— Я нашёл где. — Веспер посмотрел на неё сверху, и в первый раз я увидела в его гладком лице что-то похожее на удовольствие. — И ещё, госпожа Велга. Пришлите мне списки. Все: кто в Круге, сколько лет, откуда родом, кто из них держал конец, а кто узел. С подписями.

— Зачем вам списки?

— Затем, что я ищу того, кто умеет петь, — сказал Веспер. — И когда я найду его, я не стану спрашивать, зачем он это делал. Я просто доложу Государю.

Он поднялся ещё на две ступени и оттуда добавил, не оборачиваясь:

— И попросите свою Главную не петь по ночам. У меня чуткий сон, а у Государя — скверное настроение.

Веспера увёл Каэль.

Я не знаю, что он ему сказал. Каэль пришёл ко мне перед закатом, когда я стояла у конюшни и смотрела, как седлают лошадь, и сказал только:

— Он пойдёт со мной. До полуночи вас не тронет.

— Что ты ему скажешь?

— Что видел, как вы выходили из города, — сказал Каэль. — И покажу ему дорогу. Северные ворота, потом вдоль стены, потом пустырь. Он будет ходить за мной и записывать.

— А если он поймёт?

— Поймёт, — сказал Каэль. — Но не сразу. — Он поправил ремень. — Я ему скажу, что видел вас в мужском платье. Он будет искать человека в мужском платье. Это займёт у него часа два.

Я посмотрела на него.

— Тебе за это что будет?

— Мне и так уже ничего не будет, — сказал Каэль. — Я у него в списке. Хуже не станет.

Мы выехали, когда стемнело.

Велга не пошла. Она стояла у ворот, закутанная в платок, и держала меня за руку дольше, чем нужно.

— Помни, — сказала она. — Не отвечай. Что бы он ни говорил. И пой до конца, даже если он станет перед тобой.

— А если я не вспомню?

— Вспомнишь, — сказала Велга. — Песня не в голове. Песня в горле.

До моста было часа полтора верхом.

Западная дорога шла вдоль реки, и вода в темноте была чернее берега, и один раз мне показалось, что в ней что-то плывёт, а когда я обернулась, оно уже было позади.

Мост я нашла не сразу.

Осталось три быка, и между ними не было настила, только торчали балки, чёрные и мокрые. Средний бык был выше двух других, и на нём ещё держались доски, шага на четыре.

Я привязала лошадь к кустам, взяла чашу, соль и ложку — ложку на всякий случай, — и перебралась на средний бык по балке, держась за неё руками.

Внизу шла вода.

Она шла тяжело и ровно, как шла, наверное, триста лет, и от неё поднимался холод, и в этом холоде не было ни запаха, ни вкуса.

Я поставила чашу на доски, села рядом, положила ладони на камень и стала ждать.

Я ждала долго. Вода шла. Лошадь за кустами переступала ногами. Я думала о том, что если ничего не выйдет, то я вернусь, и Веспер утром спросит, где я была, и надо будет врать, и врать хорошо, а я не умею.

И тогда я начала петь.

Сначала это был тот же звук, что в подвале: низкий, не мой, идущий в сторону. Я не знала слов, но рот знал их раньше меня, и они вставали одни за другими, и на каждом я чувствовала, как во рту становится холоднее.

Это была не колыбельная. Это была песня про дорогу: про то, как идут через поле, про то, как спрашивают у камня, куда идти, про то, как камень отвечает не сразу.

Я пела и понимала, что не знаю, откуда беру слова. Я никогда их не слышала. Они были старые и стёртые, как порог, и в них не было ни рифмы, ни лада.

Вода остановилась.

Не замерла, не покрылась льдом: она просто перестала идти, и стало слышно, как где-то далеко, за поворотом, она всё-таки шумит.

Я пела дальше.

И на последних словах, там, где должно было быть имя, я запнулась.

Слово было близко. Оно стояло у самого горла, начиналось на «а», и я его почти знала, и в этот момент кто-то сел напротив меня.

Я не слышала, как он пришёл. Он сидел на краю досок, свесив ноги к воде, босой, в длинной рубахе, и смотрел на меня, и лица его я не видела: оно было чёрное против воды.

— Пой, — сказал он.

Я замолчала.

— Ты уже почти, — сказал Сторож. — Ещё немного, и ты бы меня назвала.

— Тогда уйди.

— Не могу, — сказал он спокойно. — Ты начала. Теперь либо до конца, либо никак.

Он поднял руку, и вода под нами снова пошла.

— Знаешь, что бывает, когда песню бросают на середине? — Он смотрел на воду. — Человек остаётся с половиной. Я видел таких. Они ходят и повторяют одно слово, и никто их не понимает, и они не понимают себя.

— Ты меня пугаешь.

— Я тебя предупреждаю. — Он повернул голову. — Я триста лет ждал, чтобы кто-нибудь дошёл до этого места. Одна дошла. Она остановилась, потому что испугалась.

— Прежняя Главная.

— Она. — Сторож помолчал. — Она спела мне половину, а потом сказала, что не станет. Она думала, что я возьму её вместо имени. Я не взял.

— А что ты сделал?

— Я перестал с ней говорить, — сказал он. — Через неделю сгорел кордон. Я не поджигал. — Он снова посмотрел на воду. — Я перестал держать. Только то, что было на моей земле.

Я сидела и смотрела на него, и ладони у меня мёрзли на камне.

— Допой, — сказал он. — Ты знаешь слово. Ты его слышала в детстве, когда мать думала, что ты спишь.

— Не знаю.

— Знаешь, — сказал он и запел.

Он запел её голосом.

Я почувствовала, как моё горло само открывается, как язык поднимается без моей воли и как воздух выходит из меня ровно и длинно, — а звук при этом был чужой, и слова я не знала, и всё моё тело пело, а я в нём сидела и слушала.

И на последнем слове я услышала имя.

Аорн.

Оно было короткое, в два слога, и в нём был звук, которого нет в нашем языке: не «а», а что-то между «а» и «о», будто человек начинал говорить и не решался.

Песня кончилась.

Вода под мостом шла, как шла всегда.

— Вот, — сказал Сторож. — Теперь ты знаешь.

Я открыла рот и не смогла сказать ни слова.

— Не сейчас, — сказал он. — Не на мосту. Я не хочу, чтобы ты назвала меня от страха. — Он встал, и доски под ним не скрипнули. — Назови меня, когда сама решишь, что я достоин имени. Или не называй. Я умею ждать.

Он пошёл по балке к берегу, и на третьем шаге я спросила:

— А если я не приду больше?

— Придёшь, — сказал он, не оборачиваясь. — Ты теперь знаешь слово. Люди с таким словом не живут спокойно.

Он сошёл на берег и стал темнотой между кустами.

Я сидела на мосту до рассвета. Вода шла, лошадь за кустами спала стоя, и в горле у меня было слово, которое я не решалась произнести даже шёпотом.

У городских ворот меня ждали двое.

Каэль стоял, прислонившись к стене, и лицо у него было серое, как у человека, который не спал. Веспер стоял рядом, прямой, с папкой под мышкой, и смотрел на меня так, будто мы не встречались никогда.

— Доброе утро, Главная, — сказал он. — Вы рано.

— Я всегда рано встаю.

— Я тоже. — Он посмотрел на мою юбку. — У вас подол мокрый до колена. И чаша в седельной сумке. И соль на рукаве.

Я промолчала.

— Я ходил этой ночью по северным воротам, — сказал Веспер. — И по пустырю. И по стене. Господин Каэль оказался очень услужливым провожатым. Он так старался показать мне то место, где вас видели, что я заподозрил его в честности.

Каэль не поднял глаз.

— Я не стану спрашивать, где вы были, — сказал Веспер. — Я и так знаю: за рекой, на западной дороге. Там есть обвалившийся мост, и он не относится ни к городу, ни к Коронному

наделу, ни к землям Круга. — Он помолчал. — Я плохо знаю законы, Главная. Но я хорошо знаю карты.

Он подошёл ближе.

— Скажите мне одну вещь, и я не стану писать Государю об этой ночи. — Он смотрел мне в лицо. — Вы говорили с ним?

Я не ответила.

— Вы говорили с ним, — сказал Веспер. — И вернулись живой.

Он взял меня за подбородок и повернул лицо к свету, и я не успела отшатнуться. Пальцы у него были тёплые и сухие, и в голове у него по-прежнему стояла стена.

— Откройте рот, — сказал он.

— Уберите руку.

— Откройте рот, Главная. У меня есть право смотреть.

Я открыла.

Он смотрел недолго, потом отпустил меня и вытер пальцы о кафтан.

— Странно, — сказал он. — У вас во рту холод.

— На улице холодно.

— На улице тепло, — сказал Веспер. — Третий день тепло. — Он закрыл папку. — Вы вернулись, и это всё, что мне сейчас нужно. Государю я напишу, что вы были на границе и вернулись. Так будет правдой.

Он повернулся к Каэлю.

— А вы, господин Каэль, больше при ней не ходите.

— Он не виноват, — сказала я.

— Виноват, — сказал Веспер. — Он знал, что вы делаете, и не донёс. По уставу гвардии это проступок. — Он посмотрел на Каэля. — Я не стану его наказывать, потому что мне не нужен враг в караульне. Но при Главной будет другой человек.

— Какой?

— Мой, — сказал Веспер. — С завтрашнего дня.

Он пошёл к воротам и на середине улицы остановился.

— И ещё, Главная. — Он не обернулся. — Когда вы говорили со стражей у ворот, у вас был другой голос. Ниже. Я сперва подумал, что это от холода. — Он помолчал. — Берегите горло.

Он ушёл.

Каэль оторвался от стены.

— Он не врёт, — сказал он тихо. — Он правда слышал.

— Я знаю.

— Фина, что там было?

Я стояла на улице, где пахло рекой и утренним хлебом, и чувствовала в горле слово, которое теперь принадлежало не мне.

— Он спел мне моим голосом, — сказала я. — И назвал имя.

Каэль смотрел на меня и молчал.

— И теперь, — сказала я, — я не знаю, чем я говорю.

Утром у дверей подвала стоял человек с сумкой.

Он был молодой, лет двадцати, в сером кафтане, какие носят писцы, и держал сумку обеими руками, будто боялся, что её отнимут.

— Главная? — сказал он. — Я Тиль. Господин Веспер прислал меня быть при вас.

— При мне уже есть кому быть.

— Он сказал, что теперь буду я. — Тиль поклонился. — Я не буду мешать. Я буду записывать.

Я посмотрела на него и не услышала ничего. Совсем ничего: ни мысли, ни обрывка, ни шороха. Не стена, как у Веспера, а ровный белый шум, будто человек всю жизнь провёл в комнате, где капает вода, и перестал её слышать.

— Ты умеешь читать? — спросила я.

— Умею. И писать умею, — сказал он с гордостью. — Я три года в канцелярии.

— Тогда скажи господину Весперу, что я не стану держать границу при писце.

Тиль растерялся.

— Он сказал, что вы так скажете.

— И что велел передать?

— Что вы можете не держать. — Тиль опустил глаза. — Он сказал: пусть не держит. Он сказал, что тогда мы всё увидим.

В подвале Велга уже сидела над бумагами.

Стол перед ней был завален листами, и на каждом был столбик имён, написанный её рукой — крупно, ровно, без наклона.

— Что это? — спросила я.

— Списки. — Велга не подняла головы. — Он потребовал к вечеру. Девять женщин, возраст, откуда родом, кто что держит. С подписями.

— И вы написали?

— Я написала. — Она отложила перо. — А подписи они поставят сами.

— Они не поставят.

— Поставят, — сказала Велга. — Потому что иначе он придёт и перепишет их сам, а потом спросит, почему я не собрала.

Тиль вошёл следом за мной, тихо, и сел у стены на табурет, положив сумку на колени. Велга посмотрела на него, потом на меня.

— Это кто?

— Мой новый человек.

— Хорошо, — сказала Велга. — Пусть сидит.

Она сказала это так спокойно, что я поняла: она уже всё решила и теперь делает то, что решила, и спорить с ней бессмысленно.

Дагна пришла последней.

Она вошла, держа левую руку на перевязи, и остановилась, увидев бумаги.

— Это что?

— Списки, — сказала Велга.

— Я вижу, что списки. — Дагна подошла к столу и взяла верхний лист здоровой рукой. — «Дагна, сорок два года, из-под Ольхов»... — Она подняла глаза. — Ты написала, что я из-под Ольхов?

— Ты оттуда.

— Я оттуда, — сказала Дагна. — Только Ольхов больше нет.

Велга промолчала.

Дагна бросила лист на стол.

— Я не подпишу.

— Подпишешь.

— Не подпишу, — сказала Дагна. — Велга, ты что, не понимаешь? Он собирает не имена. Он собирает тех, кто держал. Кто держал узел, кто держал конец, кто жёг соль. Как только у него будет список, ему не понадобится искать.

— Ему и так не понадобится, — сказала Велга. — Он ищет того, кто умеет петь, Дагна. Пойми ты наконец. Он уже слышал, как поют в этом подвале.

Дагна медленно обернулась ко мне.

— Ты пела?

— Пела.

— Здесь?

— Здесь.

Дагна села на табурет, тяжело, будто у неё разом кончились силы.

— Вот и всё, — сказала она. — Вот и всё, девочка.

— Что «всё»?

— То и всё. — Она смотрела в пол. — Двадцать лет я держала восточный конец и думала, что самое страшное — это когда рука отсохнет. А самое страшное — это когда Главная поёт в подвале и её слышит человек с бумагой.

Тиль в углу что-то записал. Я слышала, как скрипит перо, и больше ничего, и от этого скрипа у меня во рту становилось сухо.

— Что ты пишешь? — спросила я.

— Что сказала госпожа Дагна.

— Дословно?

— Дословно, — сказал Тиль. — Господин Веспер велел записывать дословно.

Дагна посмотрела на него и вдруг засмеялась — коротко и невесело.

— Пиши, пиши, — сказала она. — Пиши, что старая дура боится.

Тиль записал и это.

Велга встала.

— Довольно, — сказала она. — Дагна, подпишешь. Не ради меня и не ради него. Ради того, чтобы он не пришёл сюда сам.

— А если я не подпишу, он придёт?

— Придёт.

Дагна долго молчала. Потом взяла перо, обмакнула и поставила подпись — крупно, с нажимом, так, что перо брызнуло.

— На, — сказала она и оттолкнула лист. — Подавись.

Велга взяла лист и положила в общую стопку.

— Остальные подпишут к вечеру, — сказала она. — Аста уже подписала, Ирма тоже.

— Ирма? — удивилась Дагна.

— Ирма подписала первой, — сказала Велга. — И, по-моему, осталась довольна.

Дагна хотела что-то сказать и не сказала. Она встала, подошла к чаше и опустила в воду здоровую руку, будто проверяла, тёплая ли.

— Главная, — сказала она, не оборачиваясь. — Ты знаешь, как передают узел?

— Мне не говорили.

— Я и не думала, что скажут. — Она вынула руку и вытерла о юбку. — Узел не передают. Узел забирают. Когда Главная умирает, весь Круг собирается у чаши, и одна из женщин опускает руку в воду, и если узел её признал, она становится Главной. Если не признал — идут к следующей.

Я смотрела на неё.

— А если не признает ни одну?

— Тогда Круг остаётся без узла, — сказала Дагна. — Год, два. Пока не родится девочка, которая сможет.

Тиль записывал.

Дагна повернулась ко мне, и в её лице было что-то, чего я не видела раньше: не злость, а усталость.

— Ты знаешь, что самое поганое? — сказала она. — Я ведь тогда тоже опускала руку. И вода меня не признала. Двадцать лет держу конец, а узел не мой.

Она пошла к лестнице.

— Дагна, — сказала я.

Она остановилась.

— Что бы ты сделала на моём месте?

Дагна долго смотрела на меня.

— Я бы, наверное, назвала его, — сказала она. — И пусть бы всё кончилось.

Она поднялась на две ступени и добавила сверху, уже без злости:

— Только ты не я, девочка. Ты, говорят, умеешь держать. Вот и держи.

Ночью я осталась одна.

Тиль спал за дверью, на полу, подстелив кафтан, и я слышала, как он ворочается и как скрипят доски. Он не шумел в голове, и от этой тишины мне было не по себе: я привыкла, что человек рядом думает, и по этим мыслям понимаю, где он и что делает.

Я лежала и держала во рту слово.

Аорн.

Я не говорила его. Я только думала, и от одного этого в горле становилось холодно, будто я держала там льдинку.

Потом я села на кровати, взяла свечу, поставила её на пол и сказала — тихо, одними губами:

— Аорн.

Ничего не вышло.

Я не то чтобы не смогла. Я открыла рот, и воздух вышел, и звук не вышел. Как будто горло было завязано изнутри.

Я попробовала снова, громче.

— Аорн.

То же самое. Я слышала, как воздух проходит, а слово не проходит, и от этого во рту стало горько.

Я попробовала иначе: сказала «А», потом «орн», по отдельности, будто училась читать.

«А» вышло. «Орн» вышло.

Вместе — нет.

Я сидела на полу и смотрела на свечу, и до меня дошло, что это не заклятие и не чудо. Это как с рукой, которая не поднимается: пока не боишься — поднимается, а как испугался — нет.

Я боялась. Я боялась, что он придёт, что он услышит, что он возьмёт это слово и сделает с ним то, что делает с деревнями.

— Аорн, — сказала я в третий раз, и на этот раз слово вышло, и оно было не моё.

Оно вышло низко, ровно, тем самым голосом, которым я пела на мосту, и я почувствовала, как губы складывают его без меня.

Я замолчала. В комнате было тихо.

— Рано, — сказал голос во мне. — Ещё рано.

Я сидела на полу, и свеча передо мной горела ровно, и я боялась пошевелиться.

— Ты здесь? — спросила я шёпотом.

— Здесь, — сказал он моим горлом. — Я всегда там, где моё имя.

Я хотела встать и не встала.

— Уходи.

— Я не пришёл, — сказал он. — Я не могу прийти, пока ты не позовёшь. Я только говорю.

— Тогда молчи.

— Ты сама меня позвала, — сказал он. — Три раза.

Свеча погасла.

Я сидела в темноте и слушала, как за дверью ворочается Тиль. Он ничего не слышал: люди не слышат, когда их голосом говорит кто-то другой.

— Ты боишься не меня, — сказал он. — Ты боишься, что скажешь слово и станешь такой же, как я. Одинокой. За рвом. С тем, что тебе не принадлежит.

— Я не стану.

— Все так говорят, — сказал он. — Спи. Я не буду мешать.

И замолчал.

Я сидела на полу до утра. Перед рассветом я поняла, что у меня мёрзнет горло, если я думаю о нём, и что это теперь навсегда.

Когда рассвело, я встала, открыла дверь и увидела, что Тиль сидит на полу и смотрит на меня.

— Вы говорили во сне, — сказал он.

— Я не спала.

— Тогда вы говорили наяву. — Тиль поднялся и отряхнул кафтан. — Я не разобрал слов. Но у вас был мужской голос.

Я смотрела на него и молчала.

— Я запишу это, — сказал он и полез в сумку. — Господин Веспер велел записывать всё.

— Не надо.

— Надо, — сказал Тиль и вдруг посмотрел на меня с жалостью, от которой стало хуже, чем от угрозы. — Главная, я вам не враг. Я вам говорю как есть: если я не запишу, он спросит, а если спросит, я скажу. Поэтому лучше пусть будет записано, и я припишу, что вы были не в себе.

Он достал перо, подул на кончик и склонился над листом.

— «Ночью Главная говорила мужским голосом», — продиктовал он сам себе и записал.

Веспер пришёл после полудня, и не один.

С ним была женщина в накинутом на голову платке, худая, лет сорока, с руками, красными по локоть. Двое гвардейцев стояли у неё за спиной, и один держал верёвку, но верёвка была не привязана: женщина шла сама.

Тиль встал и вытянулся.

— Докладывайте, — сказал Веспер.

— Ночью Главная говорила во сне, — сказал Тиль. — Мужским голосом. Слов я не разобрал. Утром она сказала мне, что не спала.

Веспер выслушал, не перебивая.

— Хорошо, — сказал он. — Мужской голос. Записывайте дальше: я это слышал и сам, вчера, у ворот. — Он посмотрел на меня. — Может быть, у вас в горле живёт кто-то ещё, Главная. Мне это безразлично. Сегодня меня интересует другое.

Он подвёл женщину к чаше.

— Зовут Агна, — сказал он. — Деревня Хлебный Брод, двенадцать дворов. Три месяца назад у неё начал падать скот. Пять коров и коза. Дважды находили на воротах пучки крапивы. Соседи говорят, что она заговорила воду в колодце, потому что перед тем её сын ушёл в город и не вернулся.

Женщина не поднимала глаз. Я слышала, о чём она думает, ещё от порога, и от этого мне хотелось сесть.

— Она не виновата, — сказала я.

Веспер поднял бровь.

— Вы ещё не слышали вопроса.

— Вы хотите знать, заворожила ли она скот.

— Нет, — сказал Веспер. — Я хочу знать, умеете ли вы отличать правду от того, что человек о себе думает. — Он раскрыл папку. — Расскажите мне, что она думает. И я записываю.

— Я не стану.

— Станете, — сказал он. — Иначе я увезу её в столицу, и там у неё спросят по-другому, и после этого её сын останется без матери, а деревня — без коровы, и никто не будет разбираться, кто заговорил колодец.

Велга стояла у стены и молчала. Тиль держал перо.

— Ну? — сказал Веспер.

Я посмотрела на женщину.

Она не думала ни о скоте, ни о крапиве, ни о колодце. Она думала об одном и том же, по кругу, и это было как стук: его забрали, его забрали, я его не увижу, я его не увижу, господи, только бы его не били, только бы его не били.

— Она думает о сыне, — сказала я. — Он ушёл в город, и она не знает, где он. Она думает, что его забрали. Она ничего не заговаривала; вода у неё в колодце потому, что колодец старый и в нём гниёт сруб.

Веспер записал. Медленно, слово за словом.

— Что ещё?

— Больше ничего.

— Она думала о крапиве?

— Нет.

— Значит, вы заглянули глубоко, — сказал Веспер и закрыл папку. — Хорошо. Госпожа Агна, идите домой. Скот ваш я велю осмотреть, а сына поищут. — Он кивнул гвардейцам. — Отведите её к воротам.

Женщина подняла на меня глаза. Больше она не думала ничего: ни благодарности, ни страха. Она смотрела на меня, как смотрят на то, что стоит между жизнью и смертью и непонятно, на чьей стороне.

Гвардейцы увели её.

Велга отошла от стены.

— Что вам было нужно? — спросила она.

— Мне было нужно послушать, как Главная отвечает, когда ей нечем торговаться, — сказал Веспер. — И я услышал. — Он повернулся ко мне. — Вы не прорицали, Главная. Вы не читали воду и не гадали. Вы говорили о том, что у человека в голове.

Он открыл папку, достал чистый лист и положил сверху.

— Мне сказали, что Круг уже тридцать лет держит границу и никто из них не умеет слышать людей. Ни Велга, ни Дагна, ни Ирма, ни Аста. Никто. А вы умеете.

— Это не то, о чём вы думаете.

— Я думаю то, что написано, — сказал Веспер. — Написано: Главная слышит. — Он посмотрел на Тиля. — Пишите: умеет слышать чужое. Проверить, откуда это у неё.

Тиль записал.

— И ещё, — сказал Веспер, — я хочу знать, кто в этом городе умеет то же. Потому что такое не берётся на улице. Такое бывает в семьях.

Он закрыл папку и пошёл к лестнице.

— Даю вам два дня, — сказал он на ходу. — Потом я займусь вашей матерью всерьёз.

Дома было тихо.

Отец сидел за верстаком, но не работал: перед ним лежала раскрытая книга, и он смотрел не в неё, а в стену. Тиль остался в мастерской, у двери, и сделал вид, что рассматривает корешки.

Мать была наверху.

Она сидела на кровати, и перед ней лежала та же штопка, которую она не штопала три дня назад.

— Он дал мне два дня, — сказала я с порога.

— Я знаю, — сказала мать.

— Откуда?

— Он приходил утром. — Мать отложила штопку. — Пока тебя не было. Он пил у нас воду и говорил с отцом о переплётах. А потом посмотрел на меня и сказал: «Через два дня я вернусь с людьми».

Я села рядом.

— Мама, тебе надо уехать.

— Куда?

— К родне. В деревню. Куда угодно.

Мать усмехнулась.

— У меня нет родни, Фина. Есть двоюродная тётка в Гнилом Логе, которой я не писала двадцать лет. Ты думаешь, человек с бумагой не найдёт её за два дня?

— Тогда я скажу ему, что это я. Что всё я.

— Он и так это знает, — сказала мать. — Он не за тобой придёт, глупая. Он придёт за мной, чтобы ты смотрела.

Она взяла мою руку и сжала.

— Слушай меня. Я не побегу. Если я побегу, он поймёт, что ему не померещилось, и пойдёт по следу, а след приведёт к тебе. А если я останусь и буду сидеть тут и штопать, он, может, и подумает, что я просто старая баба, которая знает сказки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.